# О нравственном элементе в русском воспитании

Очень многие, если не все, сколько-нибудь значительные и постоянные явления нашей общественной жизни были в последние годы призываемы на суд нашей литературы, и немногие из них ускользнули от самых сильных обвинительных приговоров. Но во всех этих обвинениях более или менее ясно слышен, между прочим, один общий приговор. Какое бы учреждение и какой бы устав ни разбирался нами, мы всегда почти приходим к тому заключению, что хотя в данном учреждении или уставе и есть те или другие недостатки, но главный недостаток везде и во всем один и тот же — недостаток людей. После разбора исторических изменений всех учреждений и уставов, которым они подвергались у нас чаще, чем где-нибудь — так что в последнее время принято было почти за правило всякое новое установление оставлять, в виде опыта, на определенный срок, — мы должны были, кажется, прийти к ясному и твердому убеждению, что нет и не может быть такого безукоризненного учреждения, устава или закона, которого дурные исполнители не могли бы испортить так, что даже его хорошие стороны обратятся во вред обществу; и что нет такого дурного закона, учреждения или устава, которых благонамеренные исполнители не могли бы сделать если не хорошими, то, по крайней мере, сносными. Наши администрации, наши полиции, наши суды, наши сельские управления, наши университеты, гимназии, училища всякого рода, несмотря на недостатки своих уставов и положений, недостатки, свойственные всему, что выходит из рук человека, могли бы принести гораздо больше пользы, чем приносили до сих пор и приносят теперь, если бы наши администраторы, крупные и мелкие, наши судьи, наши полицейские чиновники, наши учителя и, наконец, члены наших городских и сельских общин, словом, все мы, с одной стороны, лучше понимали свои обязанности, а с другой — что гораздо важнее, потому что в непонятливости нельзя слишком укорять русских, — имели больше желания выполнять свои обязанности и, так сказать, больше нравственной невозможности не выполнять их.

Опытом пришли мы к полному убеждению в недостаточности для успехов общественной жизни всякого рода контролей, нагроможденных на контроли; однако же при всяком новом проекте, касающемся той или другой стороны общественной жизни, мы, не доверяя уже контролю, в то же время не доверяем и людям и почти во всем оканчиваем одним и тем же припевом: все это хорошо, да где же взять людей для этого — людей, людей-то нет; людей недостает нигде и ни для чего!

Однако ж как же это так — нет людей? Да вы послушайте только, с каким неудержимым рвением многие тысячи людей и печатно и непечатно горячо восстают против злоупотреблений всякого рода! Где теперь, в каком журнале, в какой великолепной гостиной, в каком департаменте или суде, в какой скромной чиновничьей квартире, в каком деревенском захолустье не разбираются по ниточкам всякого рода общественные злоупотребления? Если всю эту массу ревностных обличителей, так горячо и так без устали ратующих за правду против зла, собрать вместе, то вот вам целая армия превосходнейших общественных деятелей, не только отлично понимающих дело, не только не причастных никакому общественному греху, но готовых на самую упорную борьбу с общественным злом. Право, читая наши обличительные статьи, прислушиваясь к нашим обличительным беседам, кажется иногда, что всеми нами овладела какая-то болезнь бранчливости или что какой-нибудь чародей напустил нам туману в глаза и мы, думая, подобно ламанчскому герою, бороться с великанами зла, поднимаем копье против ветряных мельниц и, думая находиться в толпе всякого рода злодеев и плутов, сидим на самом деле в кругу наших приятелей, готовых умереть за дело правды и добра, и что, в сущности, нам и бороться-то не с кем и не с чем. Мы теперь все, решительно все, не исключая и гоголевского городничего, если он еще здравствует, так усердно бранимся на пользу родины, что, право, трудно решить, кого мы браним: уж не серого ли мужичка, потому что он один, решительно он один, не пристает к общему обличительному концерту.

Но, увы, нет! Перед нами не ветряные мельницы, мы не в кругу честных трактирщиков и погонщиков мулов, мы не Дон-Кихоты и не в таком положении, чтобы принять мирное стадо за неприятельскую армию: зла действительно везде очень много, несмотря на то что людей, вооружающихся языком против всякого зла, тоже очень много. Из этого замечательного, хотя вовсе не отрадного, явления за невозможностью сделать из него что-нибудь лучшее можно извлечь две психологические истины: первая, что браниться в пользу ближнего и делать что-нибудь для его пользы — две вещи совершенно различные, и второе — что недостаточно знать и понимать зло, чтобы оно исчезло, если даже средства к его уничтожению в наших руках, что между знанием добра и желанием его — глубока пропасть, глубже даже сократовского ума.

Но куда же это, однако, девались люди, и каких нам еще людей надобно? Чего, наконец, мы требуем от наших двуногих братьев, чтобы признать их за людей? Не заходит ли у нас ум за разум, как у того греческого мудреца, что днем, да еще со свечкою, не мог найти человека посреди многолюдной площади?[[1]](#footnote-1) Нет, мы не так прихотливы, и требования наши невелики. Сколько можно понять, то в наших обличениях, проходящих через типографский станок или улетающих к потолку вместе с дымом сигар и папирос, люди более или менее укоряются в недостатке того цемента, который связывает отдельные личности в одно дружное общество, в недостатке полезных для общества общественных убеждений, в недостатке так называемой общественной нравственности. Правда, браним мы своего ближнего иногда и за глупость; но, во-первых, это случается гораздо реже; а во-вторых, бранить человека за глупость так же рационально, как бранить его за то, что его физиономия нам не нравится.

Но в чем же состоит эта общественная нравственность отдельного лица? В ответе на этот вопрос мнения разделяются: одни полагают, что общественная нравственность состоит в утонченнейшем эгоизме и зависит единственно от степени умственного развития человека, так что стоит только человеку поучиться, поумнеть, и он убедится, что его личное благосостояние зависит от общественного благосостояния. Но для того чтобы прийти к такому убеждению, надобно уж очень поумнеть, поумнеть, например, до идеи, что от дров, которыми наши внуки или внуки нашего ближнего будут отапливать свои дома, нам будет тепло, или что от финансового благосостояния будущих поколений наши денежные обстоятельства будут в блестящем положении, или что от образования наших праправнуков мы лично получим огромную выгоду. Но если и возможен такой ум, то разве для немногих избранных; что же касается до нас, то мы замечаем и в себе и в других возможность множества таких положений отдельного человека в отношении к обществу, когда личный интерес прямо противоположен общественному; когда ум, и очень развитой ум, понимая очень хорошо зло, происходящее для общества от осуществления тех или других личных интересов, тем не менее решается на их осуществление именно потому, что они личные. Гоголевский городничий, а тем более Павел Иванович Чичиков, равно как и судья Тяпкин-Ляпкин[[2]](#footnote-2), рассуждающий о создании мира, не потому кривят душою, чтобы не понимали, что не до́лжно кривить ею; не потому извращают законы и обращают в свою личную пользу свое официальное положение, чтобы не понимали общественной пользы законов и их правильного исполнения. Конечно, случается у нас и такой грех, но очень редко; чаще же всего мы очень хорошо понимаем, что закон полезен, что исполнение его необходимо для пользы общества; но понимаем также очень хорошо, что неисполнение законов очень полезно для нас самих. Чтобы убедиться в том, стоит только прислушаться, что говорят городничий и его почтенные сослуживцы мнимому ревизору, — стоит только заглянуть в наши официальные бумаги, наши годовые отчеты, торжественные речи: какая величественная добродетель, какое строгое понимание святости долга!

Нет! Право, в глупости нас, русских, особенно укорить нельзя. Нам на долю достался порядочный кусок от райского яблока, и мы очень хорошо понимаем, что такое добро, что зло: но знаем также слишком хорошо, где раки зимуют. Конечно, образование ума и обогащение его познаниями много принесет пользы, но, увы, я никак не полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания, или даже ближайшее знакомство с глубокомысленными творениями Фохта и Молешотта[[3]](#footnote-3) могли сделать гоголевского городничего честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии или политической экономии, он останется тем же весьма вредным для общества пронырой. Переменится несколько его внешность, перестанет он подкатываться к людям с ловкостью почти военного человека, примет другие манеры, другой тон, замаскируется еще больше, так что проведет кого-нибудь и поумнее генерала Бетрищева[[4]](#footnote-4): но останется все тем же вредным членом общества, даже сделается еще вреднее, еще неуловимее. Посмотрите биографию Гегеля, напечатанную в этом же журнале, и если справедлива десятая доля того, что рассказывает Гейм[[5]](#footnote-5), а мы думаем, что и половины опровергнуть невозможно, то нет ли в величайшем, необъятнейшем, глубочайшем философе всех времен очень и очень порядочной доли чичиковщины? А уж он ли не был умен, развит, глубокомыслен и учен? В своих странствиях от одной власти к другой не напоминает ли он несколько бессмертных путешествий Павла Ивановича? Знаем, что эти слова не пройдут нам даром и что нас обвинят, может быть, те самые лица, которые с такой охотой развенчивают наши русские знаменитые личности — Державина, Карамзина, Пушкина, Гоголя; но защитники всемирно-германской знаменитости поставлены будут в довольно затруднительные положения: или объяснить философски различные перипетии, которым подвергалась гегелевская философия с изменением политических обстоятельств и личных отношений философа, или укорить Гегеля в том, что он сам не понимал, что писал. Но мы так благоговели перед истинно необъятным гением берлинского философа, что решительно не допускали возможности последнего толкования, и если напоминаем его биографию, то вовсе не с целью обвинить его — мы уже не имеем никакого права бросить в него камнем, — но именно для того, чтоб в резком примере показать, что величайшее развитие умственное не предполагает еще необходимо прочной общественной нравственности. Гегель ли не понимал важности, истины и красоты непоколебимого нравственного достоинства?

Этот величественный пример, напоминающий нам евангельский совет поступать по словам и следам проповедников, а не по делам их, избавляет нас от необходимости иметь другие примеры, хотя бы мы могли указать их много, начиная с бессмертного Бэкона[[6]](#footnote-6), берущего взятки, и великого Мальборуга[[7]](#footnote-7), обкрадывавшего своих солдат, и до умницы Сквозника-Дмухановского[[8]](#footnote-8). И хотя мы не думаем вслед за Грибоедовым, что умный человек не может быть не плутом, но убеждены, что очень умный человек может быть и очень большим плутом. Нет, одного ума и одних познаний еще недостаточно для укоренения в нас того нравственного чувства, того общественного цемента, который иногда согласно с рассудком, а часто и в противоречии с ним связывает людей в честное, дружное общество. Чувство общественности или, другими словами, нравственное чувство живет в каждом из нас точно так же, как и чувство личности, эгоизма.

Оба эти чувства в виде микроскопических зародышей рождаются вместе с человеком. Но тогда как первое, т.е. нравственное чувство, благороднейшее и нежнейшее растение души человеческой, требует большого ухода и присмотра, чтобы вырасти и окрепнуть, другое, как всякий бурьян, не требует для своего преуспеяния ни ухода, ни присмотра и, не обуздываемое вовремя, скоро подавляет все лучшие, нежнейшие растения. Сам божественный сердцеведец нашел ненужным заботиться о возрасте того чувства: никто и без того из собственного побуждения не подавляет своей живучей плоти, этого источника всякого эгоизма, «но питает и греет ю».

Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что воспитание, семейное и общественное, вместе с влиянием литературы, общественной жизни и других общественных сил, может иметь сильное и решительное влияние на образование нравственного достоинства в человеке. Кроме того, мы смело высказываем убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов.

Высказывая такие убеждения, мы уверены, что большинство наших читателей, за исключением немногих философов эгоизма, согласны с нами; а потому, не останавливаясь на излишних доказательствах, приступаем прямо к рассмотрению того, насколько наше современное семейное и общественное воспитание имело и имеет влияние на развитие нравственного чувства в нас и в наших детях, или, другими словами, к исследованию нравственного элемента в русском воспитании.

Понятно само собою, что мы не имеем претензий в короткой журнальной статье сделать обзор всего русского образования, со всеми его многочисленными ветвями, а думаем только указать на некоторые наиболее нам известные и более общие явления. При этом им просим наших читателей не думать, что, выставляя иные явления в довольно мрачном свете, мы не знали множества исключений: напротив, именно эти-то светлые исключения и побуждают нас взяться за перо, потому что они-то и вселяют в нас надежду лучшего. Если бы все было дурно, то мы молчали бы: безжалостно и стыдно говорить неизлечимо больному об опасностях его положения; но до́лжно говорить тому, кто имеет силы, хочет, может заявить непременное желание отделаться от своей болезни.

## I

Скажем прежде всего о воспитании нашего простого народа; но, может быть, многие заметят, что говорить об этом предмете значит говорить о том, что не существует. Но если в наших деревнях нет почти преднамеренного воспитания, то тем более сильно воспитание непреднамеренное. Люди родятся, растут, следовательно, и воспитываются, если не в школах, нарочно для того устроенных, то тем не менее воспитываются в той жизненной среде, где они живут и из которой льются в душу их разнообразнейшие влияния.

Если русский крестьянин отличается теперь от дикаря, то этим он почти единственно обязан своей все-таки европейской, славянской природе, а еще более своему древнему христианству.

Загляните в самую глухую русскую деревню, отделенную от остального мира почти непроходимыми лесами и болотами (таких деревень немало, например, в Новгородской губернии), и вы не найдете там почти никаких следов европейской цивилизации; но тем не менее заметите в характере жителей много природного славянского ума и добродушия и глубокие следы христианства, которые, может быть, тем глубже, чем древнее. Это сильно образующее влияние христианства идет, без сомнения, с тех самых пор, когда наши первые святые сподвижники христианской истины, смело углубляясь со своею могучею проповедью в глушь болот и лесов, полагали в души языческих племен святые семена. Под влиянием этой личной, сильно говорящей сердцу проповеди, выражавшейся не только в словах, но и в истинно подвижнической жизни, христианские элементы совершенно срослись в душе русского с его славянским характером и навсегда извлекли его из дикой жизни и таким образом внесли новый элемент, славянский, в сферу европейской истории. Но впоследствии времени это образовательное влияние религии значительно ослабело и, так сказать, остановилось на одной точке; так что в настоящее время христианские правила жизни сделались более традициональными и более передаются, как святое предание, от отцов и дедов к детям и внукам, чем подновляются и возрождаются вновь из их непосредственного источника. По патриархальному ли свойству нашей славянской природы — свойству общему, впрочем, всем народам, — какой же народ миновал патриархальный быт? — или по какой-нибудь другой причине, христианские истины приобрели у нас особый, патриархальный характер и, соединившись с лучшими особенностями славянской природы, образовали тот патриархально-славянский характер, который и теперь еще можно встретить нередко во всем его маститом и добродушном величии, как живой урок нашей так часто встречающейся светской мелочности с ее внешней только, поверхностной полировкой.

Эта *патриархальная нравственность*, свойственная всем народам, мало тронутым историей и между тем призванным к будущей исторической деятельности — нравственность тацитовских германцев[[9]](#footnote-9) или нынешних жителей горного Афганистана, просветленная древним влиянием христианства, — к счастью, еще довольно сильна в русском народе.

Но, как всякое предание, сильно прочувствованное, но мало сознанное и переходящее в привычку, не переходя через сознание, эта патриархальная нравственность подверглась влиянию веков, одевающих плесенью и твердую скалу, и, не очищаемая огнем сознания, несет из поколения в поколение не только истинно нравственные правила, но и предрассудки, суеверия, иногда вовсе не нравственные советы и двусмысленного достоинства пословицы — эти советы практической мудрости давно отживших поколений. Так наша русская река, выходя из непроглядной глубины лесов и болот, выносит оттуда ил, остатки гниющих растений и песок, которые потом, где-нибудь ниже, скажутся мелями. Но это была бы еще небольшая беда, и мы, помня басню Крылова «Червонец», не посоветовали бы слишком торопливо и ревностно стирать эти предрассудки, чтобы не задеть того драгоценного зерна, которого мы дать не можем и для которого предрассудок служит иногда обороняющей скорлупою. Гранить алмаз надобно очень осторожно и умеючи: он и в коре сохранит всегда свою цену и дождется искусного художника, а в руках самонадеянного невежды может безвозвратно потерять бо́льшую половину цены. Не беда была бы, если б поток преданий вместе с обильной живительной влагой выносил иногда и груду песка: при обилии своих вод он сам же размыл бы мель или обошел ее, прорыв другое русло, но то беда, что самый поток иссякает.

Факт неоспоримый, что патриархальная нравственность сохраняется гораздо более в глуши наших деревень, удаленных от центров промышленной деятельности и цивилизации. Чем более заброшена деревня в глушь, чем менее она пользуется всеми выгодами образования, тем патриархальнее ее жители и тем они нравственнее. Чем ближе к железным дорогам и шоссе, к большим сухопутным и водяным сообщениям, к столицам и фабричным местностям, тем меньше патриархальности, а вместе с тем меньше нравственности. Словом, наша патриархальная нравственность не выдерживает столкновения с цивилизацией, поедается ею, как вековые леса поедаются пламенем пожара.

Но эти слова требуют небольшого объяснения с нашей стороны. Нам так часто придется говорить о вредном влиянии цивилизации на общественную нравственность, что мы должны серьезно опасаться, чтобы нас не причислили к противникам цивилизации. Вот почему мы просим у читателей позволения высказать раз навсегда наши искренние убеждения в этом отношении.

Мы думаем, что все народности земного шара можно удобно разделить на четыре группы: 1) на народности, слишком слабые для самостоятельного исторического развития и осужденные на поглощение другими народностями; 2) на народности, еще дожидающие своей очереди, чтобы войти в область истории; 3) на народности, уже вышедшие из нее и догнивающие свой век, и 4) народности современно-исторические. О народностях первой группы говорить много нечего: на них следует только указать; таковы наши инородцы, краснокожие Америки, эскимосы, негритосы и др. Народности второй группы, которые, хотя довольно сильны, чтобы внести в историю новую деятельную личность, но которые по той или другой географической и исторической причине не вошли еще в область истории, могут долго и невредимо оставаться в виде зерен будущих исторических народных личностей, сохраняя в себе возможность исторической жизни; так зерно пшеницы, пролежав три тысячи лет в гробнице египетской мумии, сохраняет в себе возможность растительной жизни и, перенесенное в благоприятную почву, развивается и дает обильный плод. Открыть такие народности и указать их, конечно, может только история, вызвавшая к жизни полудиких обитателей германских лесов и наших славянских предков. Народности уже отжившие, сошедшие с исторической сцены, если и продолжают существовать, то не живут, а доживают или, лучше сказать, разлагаются, как разлагается труп всякого природного организма. В этом виде такие народности представляют грустное и вместе с тем отвратительное, но поучительное явление, как для химика гниение. Это разложение продолжается до тех пор, пока элементы, составлявшие эти уже отжившие организмы, не всосутся новыми, свежими народными организмами. Такое грустное явление представляла нам Греция после Александра Македонского, когда общество продолжало еще жить, хотя цемент, скреплявший его — общественная нравственность, — уже совершенно разложился. Такое же грустное явление представлял нам умирающий или, лучше сказать, уже разлагающийся Рим, пока юные германские народности не всосали его элементов и пока на прежней, удобренной гниением почве не выросли из новых зерен новые государства. Такое же явление представляет нам в настоящее время Китай, этот громадный гниющий труп, элементов которого не всосать даже и нынешней европейской цивилизации при всем ее могуществе.

Но если зерно раз посажено в землю и начало прорастать, тогда нет уже никакой возможности приостановить его развитие, или, лучше сказать, приостановить в нем процесс жизни. Раз проросшее зерно или будет развиваться или станет гнить. Народ, вошедший в историческую область и согретый лучом исторического солнца, обходящего земной шар в своем торжественном ходе, — такой народ или будет развиваться или будет разлагаться: середины нет. Приостановка в развитии, конечно, может быть только временная, какою была у нас татарская эпоха, но и та временная приостановка никогда не останется без вредных последствий. Сравните великолепные зародыши русской цивилизации до татарщины с тем, чем является эта цивилизация после татарского ига, и вам невольно придет на ум роскошное поле, ранние многообещающие всходы которого были побиты морозом.

Таков наш взгляд на необходимость цивилизации для всякого исторического народа, и если прогресс цивилизации имеет свои опасности, как всякий жизненный процесс, какие имеет и неизбежный рост дитяти, и развитие юноши, то, с другой стороны, в этих опасностях есть жизнь, есть возможность успеха, оборота к лучшему; тогда как в разложении трупа, в современной жизни Китая опасности и волнений еще больше, и нет никакой будущности: без толку, без цели, без надежды отрадного исхода. Это беспрестанное, мучительное погружение народа в темную бездну смерти; агония, которая может тянуться целые века. Византия, на которую Петр Великий указывал с таким справедливым ужасом тупым противникам европейской цивилизации, гнила более тысячи лет, пока дождалась турок; Китай гниет вот уже несколько тысячелетий, и, несмотря на свой отличный внешний порядок, несмотря на свои сотни миллионов населения, на свои природные богатства, на свое раннее образование, на умственные способности своих жителей, не может отделаться от горсти англичан: так умирающий гигант не может приподнять руки, чтоб согнать муху, причиняющую ему несносную боль. Вот, по нашим убеждениям, к чему ведет остановка развития!

Сознавая вполне всю жизненную необходимость как движения народа вперед по пути образования, так и проникновения этого образования в самые низшие слои народонаселения, мы вместе с тем не отвернемся от того печального явления, что цивилизация действует разрушительно на патриархальную нравственность каждого народа, если сама цивилизация не вносит с собою новой, уже не патриархальной, а гражданственной и общечеловечественной нравственности.

Причина такого явления очень проста: патриархальной нравственности, коренившейся в семейном быту, достаточно было, чтобы определять те несложные и немногочисленные отношения, в которых вращался патриархальный же человек; патриархальной нравственности ставало только для патриархального же быта. Но когда цивилизация, хотя бы в форме торговли и промышленности, вырывает человека из тесной сферы семейных и родовых отношений, тогда и патриархальная нравственность оказывается недостаточной. Человек вначале как бы раздвояется, и в сердце у него некоторое время уживаются очень мирно патриархальная нравственность в отношении своего семейства и совершенная безнравственность за границею семейства. Он как будто признает над собою и внутри себя только одни семейные законы и им только искренно повинуется; все же другие законы кажутся ему враждебными принуждениями, которым до́лжно повиноваться, если нельзя этого избежать, но которые позволительно и даже похвально обходить. Словом, за границами семейства он чувствует себя в неприятельской земле, где позволено делать все, только бы не попадаться, где над ним существует только право силы, а за ним — право всякого рода хитрости и обмана.

Но такое раздвоение не может существовать вечно, и в течение времени мало-помалу безнравственность из-за границы семейного быта переносится и в недра семьи.

Характеристических черт раздвоенности нравственной сферы мы находим еще много не только в нашем простом народе, но и в верхних слоях общества. Но с особенною резкостью высказывается эта черта в характере тех промышленных крестьян, которые, пускаясь на промыслы всякого рода и особенно в столицы и фабричные города, проводят многие годы вдали от своих семейств и потом опять на время или навсегда возвращаются домой. Большая часть из них и теперь еще во время своего пребывания на промыслах, на фабриках, в столицах решительно не чувствуют в себе никаких нравственных обязательств и живут точно во враждебной земле, и если удерживаются от дурных поступков, то только под влиянием опасений внести бедность или разврат в свою отдаленную семью. Но, возвращаясь домой, они по большей части с замечательной силой характера сбрасывают с себя приобретенные привычки, становятся добрыми семьянинами, а иногда, однако, вносят с собой и самые разрушительные начала. Нередко такой крестьянин искренно, в глубине души признает над собою только семейные законы, все же другие для него не более как враждебные ухищрения, и всякий чужой по большей части для него является человеком совершенно бесправным. Все глубокие сердечные нити привязывают его только к семье: он их только сознает и признает и кладет семейный, патриархальный отпечаток даже на свои религиозные понятия и свои понятия о правительстве. Он горячо и от всей души молится Богу, но в молитве своей просит удачи своему промыслу, счастья себе и своей семье; он не зажигает лампадки за всю Русскую землю, какую зажег наш знаменитый паломник у Гроба Христова; но нередко ставит надломленную свечу Ивану Воину с искренним желанием, чтобы так же переломило того или другого ближнего. Он строго держит посты, но обманет вас на товаре и в Страстную Пятницу, держась в своих промысловых отношениях ко всякому чужому старинной поговорки: «Не обманешь — не продашь» — предполагая, что и другие имеют право делать то же, что он. Для него возможно, помолившись очень усердно, немедленно же стать за прилавок и с клятвами и божбою обмеривать и обвешивать покупателя, в котором он видит существо, не имеющее никакого права на его честность. Христианское понятие — ближний — часто принимает в русском промышленном человеке значение родственника, семьянина. Вот отчего иной надувший вас лавочник и совершенно вами уличенный, смотрит вам прямо в глаза с непостижимым бесстыдством и даже с удовольствием подмигивает своему товарищу, когда вы, рассерженные, уходите из лавки. Дело здесь не в том, что та или другая личность плутует и поступает бессовестно — от плутов и бессовестных людей не избавит совершенно никакое образование, — но в том, что в одной и той же личности соединяются благочестие и плутовство, бессовестность и совестливость, беспощадный эгоизм и иногда геройское самопожертвование в пользу своей семьи. Это было бы явлением до крайности мрачным, если бы оно не объяснялось исключительностью патриархальной нравственности: вы были для лавочника то же самое, что в военное время французский солдат для русского солдата, — существом совершенно бесправным, и если не могли защититься, то должны были быть обмануты. Чтобы яснее выразить нашу мысль, мы позволим себе привести здесь маленькое происшествие, которое нам случилось видеть нынешним летом при поездке на пароходе по Волге. На пароходе, на котором нам случилось ехать от Твери до Ярославля, находилось человек двадцать ярославцев и костромичей, по большей части сидельцев петербургских лавок и различных мастеровых, отправлявшихся домой на побывку, то есть на два, на три летних месяца. Это по большей части были люди очень молодые, и между ними даже было несколько мальчиков от 14 до 17 лет. Все они, особенно дети, были очень довольны своей поездкой, и в том углу палубы, где они сидели, смех, шутки и веселые разговоры не прекращались ни на минуту, продолжаясь по вечерам далеко за полночь.

Прислушавшись к этим шумным беседам, мы были прежде всего поражены замечательной развитостью этих людей: даже четырнадцатилетние дети говорили так умно, шутили так остро и менялись друг с другом такими меткими насмешками, что нельзя было не подивиться богатству их природных способностей, их умственному развитию, их наблюдательности и даже их знаниям, приобретенным, конечно, более из практической жизни, нежели из книг, хотя почти все эти люди были грамотны и тут же на палубе от времени до времени занимались чтением засаленных книжонок, довольно, впрочем, гадкого содержания. В особенности обращал на себя внимание своим бойким, развитым умом и необыкновенным даром колкого, меткого слова один мальчик лет пятнадцати или шестнадцати с очень красивой, но довольно уже истасканной физиономией. Это был сиделец из петербургской свечной лавки, который получал уже десять рублей серебром жалованья в месяц на хозяйских харчах и очень, казалось, гордился своим положением. Но скоро мы убедились, что вместе с тем беседы этого веселого, словоохотливого кружка были проникнуты замечательной безнравственностью. Роль Дон-Жуана и вместе Фальстафа[[10]](#footnote-10) в этом веселом обществе играл какой-то молодой портной, человек лет двадцати семи, на лице которого ясно выразились следы пьянства и разврата. Он бессовестно хвалился самыми отвратительными поступками. Другие собеседники, и даже пятнадцатилетние мальчики, не отставали от разудалого портного, которого даже не пугала и мысль, что в деревне ждут его жена и отец, которым он не вез ни гроша. Конечно, во всей этой похвальбе было много лжи; но замечательно то, что идеалом всех этих людей был ловкий, развратный кутила, умеющий при этом добыть копейку всякими средствами, окупить паспорт, заплатить оброк за всю семью, надуть при случае хозяина, ловко провести покупателя, и вместе с тем искусный ремесленник или торговец. Молодой сиделец из свечной лавки играл в этих беседах весьма значительную роль. Ему, кажется, хотелось перещеголять портного, и он, должно быть, многое лгал на себя, но истасканность его хорошенькой физиономии показывала, что в хвастовстве его была значительная доля правды.

На другой день утром мы подъезжали к Борисоглебску. Когда пароход стал приближаться к пристани, на которой толпилась порядочная кучка народа, сиделец из свечной лавки и несколько человек его товарищей с узлами и чемоданами в руках стояли у перил и готовились выйти на пристань. В лице молоденького сидельца заметна была значительная перемена: нахальство и насмешливая улыбка, не покидавшие до того времени его губ, исчезли; он побледнел, стал серьезен, пристально смотрел на берег, и по всему было заметно, что глубокое чувство волнует его молодую душу. Портной зашучивал с ним, мальчик силился ему отвечать также шутками, но голос его дрожал. Он зорко смотрел на берег и, казалось, кого-то искал глазами на пристани.

– Никак это он и есть, — проговорил наконец мальчик сильно дрожащим голосом.

– Кто он? — спросил портной.

– Отец-то мой, — отвечал мальчик, — он и есть.

– Батюшка! Батюшка! — кричал мальчик, махая картузом, и в этом крике было неподдельное, худо скрытое чувство.

На пристани при крике мальчика в особенности засуетился старичок-крестьянин, маленький, сухой, лицо которого, по выражению Гоголя, походило на высохшую грушу. Узнав голос сына, старик засуетился, глядел во все стороны; но в толпе лиц, собравшихся у перил подходящего к пристани парохода, не мог распознать своего детища; а может быть, и не узнавал его, потому что не видал его более четырех лет.

– Батюшка! Я здесь, батюшка! — кричал мальчик. Но голос его рвался: — Не видит, старый! — проговорил сиделец с досады.

Наконец пароход пристал. Молодой сиделец почти первый выскочил на пристань и, бросивши свой чемодан, тут же при всем народе повалился отцу в ноги. Старик со слезами на глазах дрожащими от волнения руками поднял своего сына и, не говоря ни слова, осыпал поцелуями, на которые мальчик отвечал так же усердно, целуя отца то в руки, то в плечи, то в морщинистое лицо, то в седую жиденькую бороду. Сцена была глубоко трогательная, и тем более трогательная, что проходила почти без слов, в отрывистых выражениях. Чувство, охватившее обоих, отца и сына, рвало речь на куски. Через минуту они поспешно отправились на очень крутой берег. Мальчик взвалил было свой чемодан на голову, но отец вырвал его у него из рук, поднял на свои старые плечи, и оба любящих существа скоро исчезли из виду.

Что бы осталось от этого мальчика, если бы, следуя какой-нибудь новейшей теории, порвать эти святые нити, соединяющие его сердце с семьей? Не значило ли бы это задавить в нем всякое нравственное чувство и поставить в среду общества холодное, развратное, безнравственное, враждебное всем и каждому сердце?

Но, спросят, быть может, нас, неужели мы не находим в душе русского крестьянина других нравственных качеств, кроме патриархального чувства родственной любви? Неужели мы не предполагаем в нем каких-нибудь других, более широких нравственных стремлений? Но прежде всего мы думаем, что в душе каждого человека есть все душевные человеческие качества, все хорошие и дурные черты человеческой души. Разница только в том, что в душе каждого человека одни черты выходят более наружу и более управляют его действиями; тогда как другие могут оставаться в скрытом, почти зародышном состоянии и, вызываемые случаем, проявляться ненадолго и опять скрываться до нового случая. Воспитание и жизнь, вызывая чаще и чаще из души нашей то или другое чувство, то или другое врожденное ей стремление, делают их руководителями наших мыслей и наших дел. Семейный быт со своим патриархальным христианством являлся до сих пор почти единственным воспитателем нашего крестьянина; образование, школа, литература не принимали в нем почти никакого участия, а суровая жизнь окружала его большей частью неприязненными влияниями, как чужого, не выказывая к нему ни малейшего сочувствия. Чему же удивляться, если в душе человека, получившего такое воспитание, одни семейные отношения приобретут полное право гражданства, и если, входя в жизнь, которая обратилась к нему только с эгоистическими расчетами на его деятельность, он сам делается крайним эгоистом. Если бы сама общественная жизнь обратилась к крестьянину с бескорыстным желанием ему добра, то и в его сердце развилось бы бескорыстное общественное чувство. Теперь же нередко случается, что крестьянин не посылает своих детей в школу, боясь, чтобы их не взяли потом в писаря или солдаты: так недоверчиво смотрит он на всякое бескорыстное усилие в его пользу. Отдаленные политические и государственные соображения почти совершенно чужды крестьянину; но если он в своем ограниченном быту увидит и почувствует, что о нем заботятся честно и бескорыстно те, для которых он работает, не из одних расчетов на его тяжелый труд; если он почувствует себя окончательной целью государственных забот и гражданином государства — тогда и в нем раскроются гражданские доблести. Мы были бы очень близоруки, если бы подметили в характере нашего простого народа один только патриархальный оттенок. Нет, мы видим в нем много могучих задатков честной гражданственности, полной силы народности и бескорыстной человечности. Начало товарищества, проявляющееся в дружинах, в новгородских ватагах, малороссийском казачестве и нынешних артелях, не показывает ли, что высокое чувство дружбы глубоко коренится в славянской природе, в которой вместе с тем дивным образом соединяются патриархальная неподвижность с беззаветной удалью. Не тот же ли самый малороссиянин, который не знает дороги до села, отстоящего за десять верст, превращаясь в казака, грабил берега Малой Азии? А 1612 год не доказал ли, что русские сознают себя единым и самостоятельным народом? А эти общества трезвости, возникающие сами собою в народе, для которого было единственное веселие пити, не показывают ли возможность дружного и сильного пробуждения чувства человеческого достоинства? Нет, не мы предлагаем народу нравственное образование, а он сам его хочет, просит и требует от нас, обязанных своим образованием его тяжелым трудам.

С другой стороны, показывая совместимость патриархальной нравственности с понятиями и поступками вовсе не нравственными, мы не хотели этим унизить патриархальной нравственности, а только хотели показать ее недостаточность при дальнейшем проникновении в народ общей европейской цивилизации, входящей в него покуда одною своею материальной стороной. Точно так же, утверждая, что односторонняя цивилизация действует разрушительно на патриархальную нравственность, мы вооружаемся не против цивилизации, а только против ее односторонности. Мы желали бы, чтобы из патриархальной нравственности, свидетельствующей о потребности глубоких и благородных чувств в нашем народе, выросла, как из плодовитого зерна, нравственность гражданская, государственная и общечеловеческая или христианская в полном смысле этого слова. Мы желали бы, чтобы не железные дороги, не промышленность со всем своим золотом и со всей своей грязью, не столичный и фабричный разврат, не промышленническая литература, рассчитывающая на трудовой грош крестьянина, а Церковь и школа, не разрушая, а освящая и озаряя светом мысли и чувства семейный быт и оставляя ему то, что принадлежит по праву всякому христианскому семейству, вывели наш простой народ из тесной отжившей сферы исключительно патриархального быта в более обширную и свободную сферу гражданского общества, государства и человечества.

Взглянув на то, что до настоящего времени было сделано для правильного умственного и нравственного развития сельского населения, мы должны будем сознаться, что сделано очень немного. Не только что число сельских школ весьма незначительно — это бы была еще не беда, потому что из немногих, но хорошо устроенных школ легко и без насильственных мер возрождаются новые, — но что и те школы, которые существуют, если и учат чему-нибудь и как-нибудь, то уже решительно нисколько не воспитывают своих учеников ни умственно, ни нравственно и не действуют нисколько на правильное развитие народного характера, потому что сами не имеют никакого характера. Мы скажем немногое, если скажем, что самое понятие народной школы у нас не уяснилось, так что не только в практике, но и в литературе нашей нисколько не определилось, что такое должна быть наша народная школа, какие условия должна она выполнять и к какому результату стремиться, не говоря уже о том, что мы решительно не имеем ни народных учителей, ни народных учебников, ни народных книг для чтения.

Что низшие слои русского народонаселения нуждаются в школах, это, кажется, не требует доказательств. Но обладает ли это население достаточными средствами, чтобы иметь хорошо устроенные школы? Что касается до средств материальных, денежных, то мы скажем утвердительно, что эти средства есть или, по крайней мере, могут быть отысканы, хотя хорошие школы, особенно в первое время, стоят недешево.

Весь откупной сбор или, лучше сказать, расход народа по этой статье разделяется сам собою на три части. *Косвенный налог*, идущий на покрытие государственных нужд. Эта часть откупного сбора в том или другом виде, в виде ли прямого налога или в виде какого-нибудь другого, косвенного, будет существовать всегда и не только не должна уменьшаться, но должна развиваться вместе с развитием государственной жизни и государственных потребностей. Вторая часть откупного сбора идет на покрытие издержек по самой процедуре собирания налогов: на наем конторщиков, акцизных, целовальников и тому подобных господ. Но половины третьей часта откупного сбора, половины тех миллионов, которые пошли в сундуки самих откупщиков или издержаны на разные откупные роскоши: на шампанское, актрис, орловских рысаков, поездки за границу с курьерами, неслыханные кареты, в которых бы откупной вельможа мог и спать и есть, было бы достаточно для самого блестящего устройства народных школ. Но были ли бы и тогда у нас хорошие народные школы — это еще вопрос.

В денежном отношении мы заметим только одно, что устройство хороших народных школ, правильно развивающих и правильно воспитывающих народ, есть одна из самых выгодных и самых прочных финансовых операций. Развивая умственные и нравственные силы народа, обогащая его полезными знаниями, возбуждая в нем разумную предприимчивость и любовь к труду, поощряя его воздерживаться от диких, непроизводительных издержек (каковы, например, издержки на пьянство, поглощающие разом и деньги, и ум, и время, и силы), укореняя в массах простого населения правильный и ясный взгляд на необходимость администрации, законов и государственных издержек, — истинное народное образование сохраняет, открывает и поддерживает именно те источники, из которых льется народное богатство и льется само собою, без всяких насильственных мер: время, труд, честность, знание, уменье владеть собой, физические, умственные и нравственные силы человека — эти единственные творцы всякого богатства.

Итак, в денежном отношении нет больших препятствий к устройству хороших народных школ, по крайней мере в очень многих местностях России. Если в каком-нибудь селе, имеющем население до полутора тысяч душ мужского пола и где откуп пожинает десятки тысяч, нет не только хорошей, но даже никакой народной школы, стоящей десятки рублей, то причины этого до́лжно искать, конечно, не в недостатке денежных средств. Но если мы оставим финансовый вопрос в стороне и обратимся к моральным средствам, то увидим, как мы уже заметили выше, что у нас нет покудова средств создать правильную народную школу: ни учителей, к тому приготовленных, ни книг, для того годных, ни даже самого понятия о том, чем должна быть русская народная школа.

Однако же пусть читатель не придает этим обвинениям больше тяжести, чем они имеют; пусть припомнит он, что и в самой Германии, образование которой столькими столетиями опередило наше, нет еще и ста лет, как начала образовываться правильная народная школа и учительские семинарии стали давать в значительном количестве народных учителей, приготовленных к своему делу. В благородном нетерпении нашем видеть у себя поскорее все то хорошее, что мы видим в других странах, мы не должны забывать заглядывать в историю, которая скажет нам, как медленно и постепенно вырабатывалось у других это хорошее, преодолевая тысячи препятствий и уясняясь, укрепляясь и развиваясь именно в этой самой борьбе. Мы не должны забывать, что народная школа не принадлежит к тем явлениям народной жизни, которые могут быть целиком пересажены из одной почвы в другую и приняться в среде народа. Конечно, мы можем занять много полезных педагогических изобретений у западных наших братий, опередивших нас в образовании. Но дух школы, ее направление, ее цель должны быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно истории нашего народа, степени его развития, его характеру, его религии. Вот почему пусть читатель видит в наших обвинениях, касающихся всех нас, посвятивших себя более или менее делу народного образования, скорее сильное желание обратить внимание общества на крайнюю современную потребность учреждения правильных, воспитывающих народных школ, чем желание высказать бесполезный и обидный укор.

До сих пор у нас не выработалась идея народной школы: значит, не пришло время этой идеи; но теперь, как нам кажется, это время настало, и если не сама идея, которая выработается, может быть, нескоро, то, по крайней мере, потребность этой идеи высказывается повсюду с необыкновенной силою. Сочувствие публики к педагогическим вопросам, возникшие как бы из земли сотни воскресных школ, школ для бедных, женские училища — доказывают, что время действительной народной школы настало.

Теперь, именно теперь, когда нас ожидают глубокие общественные преобразования, коренная перемена в сельском быту, появление в обществе двадцати миллионов новых граждан, финансовая реформа, сети железных дорог и вследствие того проникновение промышленности и торговли с их хорошими и дурными спутниками в отдаленнейшие захолустья, когда грамотность, потребность которой выказывается все сильнее, грозит сойтись с подонками нашей литературы; когда сам народ обществами трезвости высказывает потребность нравственного преобразования — до́лжно наконец серьезно подумать об устройстве русской народной школы.

Теперь только стала она возможной и в то же время сделалась необходимой. Теперь это уже не преждевременная прихоть, не страсть к подражанию, не роскошь и даже не просто хорошее богоугодное дело, но насущный, жизненный вопрос, настоятельно требующий разрешения и от разрешения которого, более или менее удачного, зависит правильный исход всех прочих реформ, начатых или предполагаемых в настоящее время.

В решении столь важного общественного вопроса должны принять участие и литература и все общество, потому что в деле общественного воспитания общественное мнение всегда будет играть важную роль; но главными участниками в практическом разрешении этого вопроса явятся, без сомнения, с одной стороны — Церковь, с другой — все наше учебное и ученое сословие, представители духовного и представители светского образования. По коренному смыслу христианской религии духовный пастырь должен быть не только служителем алтаря, не только проповедником слова Божия, но наставником и учителем. На обязанности его лежит не только принятие в недра Церкви нового христианина посредством таинства Крещения, но и введение его в смысл христианских истин и в нравственный храм христианства. Оставляя в стороне небесное назначение религии, как приготовительницы христианина к будущей жизни, мы полагаем, что христианский пастырь имеет назначение умственно и нравственно возвышать людей и в этой жизни и открывать источник того благодетельного влияния, которое христианская религия оказала на умственное и нравственное развитие человеческих обществ; словом, что духовные пастыри наши должны приготовлять в нас не только членов Церкви, но и деятельных граждан христианского государства. Педагогическая деятельность не только не противоречит характеру деятельности священнослужительской, но является самым необходимым ее дополнением. Может ли быть для служителя алтаря и проповедника слова Божия какая-нибудь деятельность приличнее воспитания молодых поколений?

Какое общество может быть приличнее для проповедника религии Спасителя, как не общество детей, которыми так любил Себя окружать Богочеловек и заботу о которых Он так строго заповедал Своим ученикам? Но, с другой стороны, искусство воспитания выросло медленным, историческим путем, и тот, кто хочет воспитать детей, должен посвятить много времени этому искусству. Теперь едва ли уже можно сомневаться в том, что для воспитателя недостаточно быть только учителем и что для самого учителя недостаточно знать, чему учить, но до́лжно еще знать, как учить, и не только знать теоретически, но и уметь практически. Неудачные опыты нашего учения и воспитания, кажется, должны были уже убедить всех, что искусство воспитания, как и искусство врачевания, требует долговременной специальной теоретической и практической подготовки. Мы считаем совершенно приличным и даже в высшей степени полезным, чтобы духовные лица могли стоять во главе не только народных школ, но быть наравне со светскими лицами начальниками и главными распорядителями и в других, высших школах. Но для этого надобно, чтобы они по своему общему образованию и по своему педагогическому подготовлению были способны к такой всесторонней воспитательной деятельности. Однако состояние наших духовных училищ, в которых совершенно нет никакой педагогической подготовки, и даже отчасти способ преподавания Закона Божия в наших светских училищах является практическим доказательством того, что наше духовенство очень мало знакомо с педагогическим искусством и в этом отношении во многом еще находится на той ступени, на которой схоластика оставила искусство воспитания. Вот почему мы считаем необходимым педагогическую подготовку, сообразную с требованиями новейшей педагогики, для лиц, назначающих себя к занятию духовных должностей, если с этими должностями желают соединить педагогическую деятельность.

Дело не в том, кто — духовное или светское лицо — должен заведовать народной школой; но в том, чтобы заведующий народной школой был истинный христианский воспитатель, истинный педагог по призванию, по цели, по занятиям и искусству; простая добросовестность должна удерживать каждого из нас от возложения на себя обязанностей, искусство исполнения которых нам чуждо. Но в том-то и беда, что не многие у нас еще и до сих пор убеждены, что воспитание есть искусство, и притом искусство нелегкое, хотя, казалось бы, результаты, которых мы до сих пор достигали в воспитании, могли убедить в этом каждого. Но если необходимо, чтобы духовные лица, посвящающие себя воспитательной деятельности, были хорошими педагогами, то, с другой стороны, необходимо также, чтобы светские лица, принимающиеся за воспитание, особенно простого народа, были не только хорошие педагоги, но и истинные христиане по своим стремлениям и убеждениям, насколько убеждения человека доступны взору других людей. Как только мы захотим отделить непереходимой гранью преподавание Закона Божия от преподавания других предметов, то хотя преподавание различных предметов и останется, но воспитание исчезнет. Современная педагогика исключительно выросла на христианской почве, и для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая — безголовый урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения позади и без результатов впереди.

Можно ли себе представить, например, сколько-нибудь сносного учителя грамотности даже, который бы не коснулся религиозных истин, если только он не занимается одним механизмом чтения, убийственным для детской головы. Мы требуем, чтобы учитель русского языка, учитель истории и т.д. не только вбивали в голову своим ученикам факты своих наук, но развивали их умственно и нравственно. Но на чем же может опираться нравственное развитие, если не на христианстве? Если такое отделение провести последовательно, то можно даже отцу и матери запретить внушать религиозные истины своим детям.

Мы будем еще говорить впоследствии о том вредном влиянии, которое имеет разделение между многими преподавателями в младших классах всех наших училищ, влиянии, подкапывающем под самый корень нравственную силу воспитания. Но, конечно, о таком разделении, когда дело касается народной школы, и речи быть не может. В этой сфере своей учение не может еще подразделяться на различные науки и должно быть единственно только средством к общему умственному и нравственному развитию. Внести в народную школу какое бы то ни было разделение наук между различными преподавателями — значит нарушить основной характер народной школы, для преподавания в которой преподавателю не нужно ни иметь богословских познаний, ни уметь читать по-еврейски, гречески, ни быть словесником, историком, геологом; но просто всесторонне образованным христианином, имеющим призвание к педагогической деятельности и знакомым теоретически и еще более практически с искусством воспитания. Такого соединения в одном лице требуем мы не только потому, что легче и полезнее иметь одного посредственного воспитателя, чем пять или шесть плохих преподавателей, но и потому, что лучше иметь одного хорошего воспитателя в народной школе, чем целый десяток отличных учителей. Всякое же раздробление предметов в школе, назначенной для простого народа или детей младшего возраста, необходимо и неизбежно превращает воспитателя в учителя.

Воспитателем в народной школе вообще не может быть такой человек, который не знаком настолько с христианской религией, чтобы не быть в состоянии сообщить одиннадцатилетним крестьянским детям тех религиозных понятий, какие только они могут принять по их возрасту и развитию. Такой воспитатель вообще не может быть воспитателем, и тем более воспитателем в народной школе.

Таким образом, мы полагаем, что в народной школе воспитателем может быть одинаково как светское, так и духовное лицо, только бы они были подготовлены к делу воспитания; что дело народного воспитания должно быть освящено Церковью, а школа должна быть преддверием Церкви.

При этом мы считаем удобным выразить вообще желание, чтобы наше светское образование сблизилось с религиозным; особенно, приступая к делу народного воспитания, весьма полезно бы было, чтобы для светских лиц была открыта возможность полного богословского образования — в семинариях ли или в университетах, и чтобы для лиц духовного звания сделалось доступным полное педагогическое образование. Тогда только мы вправе будем ожидать плодовитого сближения между этими двумя сторонами русской жизни — между образованием и Церковью. Если этого сближения еще не произошло, то в этом никак не виноваты основания православной религии, потому что православие есть единственная религия, представляющая все условия для такого движения.

Оставляя в стороне чисто религиозное значение православия и глядя на него только со стороны жизни земной, общественной, мы видим в нем единственную религию, которая, сохраняя нерушимо не только общие, основные истины христианства, но и свои древние формы, может стать религией великого и образованного народа, быстро и неуклонно идущего по пути общей европейской цивилизации. Католицизм не истинами христианства, а своей иерархией поставил препону цивилизации народа, и эта препона оказалась бессильной. Земное владычество, а не польза народная, было главным мотивом католических прелатов. Характер протестантизма определяется всего лучше его названием — это вечная протестация, вечное отрицание, которое не может остановиться, не отказавшись от собственного своего характера. Протестантизм силен лишь только до тех пор, пока протестует; но как только захочет остановиться, превратиться в ортодоксию, так и обнаружится неопределенность его границ. Вся история протестантизма проходит или в протестациях, а тогда она блестяща и возбуждает сочувствие, или в попытках остановиться, и тогда она темна и возбуждает неудовольствие. Протестантизм раз сдвинулся с исторических основ, и теперь ему трудно остановиться. Но, видя все коренные недостатки протестантизма, мы не можем не сознаться, что он, по крайней мере, некоторое время, соединивши церковь с школой, имел сильное влияние на возвышение уровня народной нравственности.

Православная религия величественно идет по средней, истинной дороге; она, свято сохраняя древние формы христианства и не объявляя римских притязаний на земную власть, благословляет и освящает всякий истинный прогресс. Сохраненные православием древние, бесконечно глубокие и полные мысли формы христианства открывают возможность бесконечного, прогрессивного углубления в себя как для младенчествующего народа, так и для народа, обогатившегося всеми плодами образования. Церковь православная никогда не сделается государством и никогда не превратится в школу; она останется всегда вечным, неземным учреждением.

Наши духовные пастыри сберегли для нас драгоценное сокровище; но сохранением чистоты догматов веры, вечным, неумолкающим служением алтарю не ограничиваются их обязанности: они должны вводить народ в таинственный смысл этих догматов и в нравственный храм христианства. Но для этого, как мы уже сказали, недостаточно одного служения алтарю и одной проповеди; к этому должно присоединиться и учение. Но кто хочет учить, тот должен снизойти до потребности ученика, заглянуть в его душу, быть не только христианским священнослужителем, но и христианским педагогом.

Не забудем, что величайшие двигатели дела народного воспитания: Франке[[11]](#footnote-11), Песталоцци, Арнольд[[12]](#footnote-12) именно в христианстве почерпали силы для своей плодовитой и энергической деятельности, пересоздавшей воспитание Европы.

## II

Задумав высказать наше мнение о нравственном элементе в русском воспитании, мы скоро убедились, что избрали такой предмет, богатого содержания которого не исчерпать не только одной или двумя, но целым рядом журнальных статей, а потому, чтобы не говорить обо всем слишком поверхностно, мы просим позволения у наших читателей, несмотря на общее заглавие и этой второй статьи, говорить в ней только о семейном воспитании нашего дворянства, предоставляя себе право поговорить в другое время как о воспитании остальных классов русского общества, так и о нравственном элементе именно в школьном воспитании, а равно и о том чисто аристократическом оттенке, который придает совершенно особый характер воспитанию в некоторых семействах.

Мы выбрали для нашей статьи воспитание дворянства не только потому, что с этим воспитанием мы знакомее, чем с воспитанием других классов, но и потому, что именно из этого класса выходит несравненно бо́льшая часть лиц, на нравственное достоинство которых преимущественно опирается наша государственная служба, наша литература и наше общественное образование.

Класс среднего, мелкопоместного и вовсе беспоместного дворянства, который по преимуществу может быть назван служебным, сливающийся в высших пределах своих с аристократическим слоем и гораздо резче отделяющийся от низших слоев общества, часто подвергался более или менее справедливым нападкам со стороны нашей литературы, причем нередко забывалось, что именно этому самому классу, из которого возникает наше чиновничество, обязана Россия большей частью лучших деятелей ее цивилизации во всех отраслях общественной жизни. Припомним себе только то, что большей частью наши великие полководцы, наши писатели и профессора вышли именно из этого класса и что с историей его до сих пор связана преимущественно история государственного управления, образования и литературы, и мы будем снисходительнее смотреть на недостатки его воспитания, чувствуя, что в этом воспитании должны быть и существенные достоинства, если оно могло породить столько достойных уважения личностей, которым русский народ обязан лучшими проявлениями своей жизни.

Прежде чем мы приступим к перечислению достоинств и недостатков в воспитании детей этого сословия, мы должны сделать небольшую оговорку. Высказывая какой-нибудь недостаток в воспитании дворянского класса, мы никак не хотим сказать, чтобы этот недостаток был общим для всякого дворянского семейства. Если Гоголь рисовал своего городничего, то, вероятно, ему было небезызвестно, что не все русские городничие похожи на Сквозника-Дмухановского. Не имея никаких претензий даже на малейшую долю искусства великого художника, мы тем не менее считаем и себя вправе, выставляя тот или другой, по нашему мнению, типический, недостаток воспитания, не говорить о множестве исключений, хотя, как мы сказали выше, именно эти самые исключения и дали нам желание выставить более общие недостатки. С другой стороны, выставляя многие из этих недостатков и достоинств, мы сознаем, что они общи не одному дворянскому классу. Мы, если хотите, будем говорить и в этой статье о нравственном элементе в нашем семейном воспитании вообще, но перед нашими глазами преимущественно будет находиться то воспитание, с которым мы наиболее знакомы, — воспитание среднего дворянства.

Патриархальность во взглядах на нравственные отношения, которую мы указали в низших слоях русского народа, является такой же характеристи­ческой чертой в нашем дворянстве.

Стоит присмотреться к общественным отношениям в наших дворянских или служебных кружках, чтобы заметить, что в понятиях о нравственности и здесь патриархальный элемент сильно преобладает или, по крайней мере, преобладал до сих пор над элементом государственным и гражданским. Человек, умеющий себя держать прилично в обществе, строго соблюдающий вместе с тем прихотливые условия мелкой общественной честности, хороший семьянин, исполняющий в то же время внешние религиозные обряды, гостеприимный хозяин и человек, не нарушающий своего дворянского слова, честный плательщик своих долгов, сделанных на честное слово, и особенно карточных, человек, не позволяющий себе безнаказанно наступить на ногу, может, наверное, рассчитывать на полное общественное уважение во многих кружках, хотя бы источники его доходов были самые вредные, хотя бы его благоденствие коренилось в казнокрадстве, во взятках и угнетении собственных крестьян. Здесь снова не в том дело, что существуют взяточники, казнокрады и люди бесчувственные, не имеющие понятия не только о любви, но даже о христианском сострадании к меньшим братьям; но в том, что общество часто мирится с такими людьми, что оно широко раскрывает для них свои двери, что такие лица являются часто любимейшими членами многих общественных кружков, приятнейшими собеседниками, выгоднейшими женихами, руководителями удовольствий, законодателями общественного мнения и так далее... Беда не в том, что существует эта язва, обессиливающая государство, но в том, что мы называем эти язвы маленькими грешками, которые очень легко извиняем и в себе и в других. Беда в том, что наши христианские убеждения так легко примиряются с этими страшными язвами и что совесть наша, которая мучит нас за нарушение каких-нибудь семейных отношений, нередко легким вздохом, похожим более на зевок, чем на выражение раскаяния, разделывается за самые тяжкие общественные грехи. Как часто нам удавалось слышать, что какой-нибудь почтенный отец семейства, составивший себе благоприобретенное состояние на службе, говорит своим близким знакомым и детям, что вот-де, благодаря Бога, он устроил и то и се, имеет и дом, и капиталец, и чины, и ордена, пользуется общественным уважением и любим своими приятелями; что вот-де и вы, дети, не забывайте Бога, молитесь усерднее, и он вас не оставит и т.п. Такие речи не раз удавалось слышать каждому из нас, и общественное мнение нередко оправдывает такие речи, и человек, который в своем состоянии не может упрекнуть себя ни одним неправильно нажитым грошом, растворяет часто настежь свои двери для благоприобретателей подобного рода. Как часто нам удавалось видеть, что какая-нибудь заботливая мать отыскивает для своей дочери именно такого жениха, который бы обладал или, по крайней мере, мог обладать тепленьким местечком, человека солидного, что на служебном языке почти всегда означает человека, умеющего обращать свое официальное положение в свою собственную пользу. «Вы теперь уже семьянин, — часто говорят новому мужу или новому отцу семейства, — и вам пора уже оставить все фантазии молодости, сделаться человеком солидным, позаботиться о семье». И эти заботы о семье заводят часто человека в самую грязную яму.

Женщины в заботах о семье естественно идут еще дальше мужчин. Получив поверхностное, по большей части внешнее образование, недостаточно развитые для того, чтобы понимать какие-нибудь серьезные общественные отношения или свести идеи частного и общественного блага, проникаются они в семействе еще исключительнее, чем мужчины, эгоистическими началами. Им нередко кажется, что весь мир, все государственное устройство, вся служба только для того и существуют, чтобы их милым деткам было хорошо. Их семья делается для них средоточием вселенной, и даже в самой религии видят они средство только семейного благополучия и благосостояния. Они молятся горячо, но молятся единственно о счастье своих детей, то есть об их здоровье, богатстве, будущих чинах, крестах, имениях и проч. и проч. Интересы государства, интересы народа, науки, искусства, литературы, цивилизации, христианства для них чужды или, лучше сказать, все это для них существует настолько, насколько может принести пользы их детям. Лакедемонянка, подавая щит своему сыну, говорила ему: «Возвратися или с ним, или на нем». Наша современная мать, приготовляя сына к жизни, наоборот, думает нередко только о его счастье, а не о его нравственном достоинстве, и часто желает ему счастья, во что бы ни обошлось оно государству, человечеству и собственному нравственному достоинству ее сына. Мы понимаем всю узость воззрений спартанки; но если христианство расширило тесные пределы исключительного общества не только до пределов человечества, но и до безграничности вселенной, то, конечно, этим самым оно не сняло с нас обязанности жить для блага и истины и служить им точно так же, как служил спартанец тесной идее своей отчизны. Но много ли найдется между нашими родителями таких, которые бы серьезно, не для фразы только, сказали своему сыну: «Служи идее христианства, идее истины и добра, идее цивилизации, идее государства и народа, хотя бы это стоило тебе величайших усилий и пожертвований, хотя бы это навлекло на тебя несчастье, бедность и позор, хотя бы это стоило тебе самой жизни». А такие слова были бы не более как христианским переводом слов лакедемонянки, и, скажем более, идея, выражающаяся в этих словах, есть единственная идея, на которой может основываться истинное христианское воспитание. «Ищите прежде всего Царствия Божия, — говорит Спаситель, — и все остальное само собою приложится вам». А что же такое Царствие Божие, как не царство веры, истины и добра? Но мы поступаем не так: мы готовим детей наших не для борьбы с жизнью, а только для того, чтобы им было удобнее плыть по ее течению. Если мы и советуем им молиться, то прибавляем при этом: молись и будешь счастлив, т.е. будешь здоров, умен, богат, в чинах и т.д., забывая те евангельские слова, где выражено, что всех сих благ ищут язычники, и где христианское понятие о счастье навсегда отделено от языческого. Да, мы смело высказываем, что семейный эгоизм наш отравляет в самом корне наше общественное воспитание, — это его глубочайшая язва, из которой, по нашему мнению, проистекают все остальные болезни, и этих болезней не излечить никакими эгоистическими философскими теориями и никакими материалистическими воззрениями на жизнь. Если мы будем говорить человеку, что весь он грязь, что все и вся жизнь человечества есть дело случая, что все исчезнет вместе с нами, что прогресс развития истины и добра есть создание болезненной фантазии, боящейся смерти, — то я не думаю, чтобы такими фразами мы могли исцелить эту общественную язву.

Конечно, никто не потребует от нас, чтобы мы в одной короткой журнальной статье обрисовали все то многоветвистое дерево зла, которое вырастает из плодовитого зерна семейного эгоизма. Мы укажем только на некоторые наиболее кидающиеся в глаза явления.

Русских отцов и матерей семейства из дворянского круга никак нельзя упрекнуть в том, чтобы они мало занимались воспитанием своих детей: напротив, в большей части дворянских семейств воспитание составляет главную заботу родителей, цель их жизни, пред которой часто преклоняются все другие цели и побуждения. Многими родителями овладевает даже истинная страсть к воспитанию, и иные дворянские дома, где есть пять, шесть человек детей в учебном возрасте, превращаются в настоящие жидовские школы. Во всех комнатах и во всех углах, на шкапах и за зеркалами, на столах и под столами вы заметите следы самой яростной воспитательной деятельности: там мальчик зубрит французскую грамматику, там девочка твердит вокабулы, там Петруша отхватывает страницу из Священной истории, там Ванюша выкрикивает европейские реки, там раздаются крики Саши, на леность которого пожаловался учитель. Отец и мать принимают самое деятельное, самое живое участие в детских занятиях. Он силится припомнить полузабытые им правила арифметики; она зорче всякой классной дамы следит пальцем по книге, прослушивая урок сына или дочери, и только по временам, бедная, глубоко вздохнет, подумав о том, как долго еще до того счастливого времени, когда дети ее наконец будут иметь право бросить все эти мучительные книжки и позабыть навсегда то, что в них написано, — когда, исполнив наконец все прихотливые требования экзамена, ее милые дети получат билет для выхода на общественную сцену и займутся существенными интересами жизни: теплыми и видными местами, выгодной женитьбой и прочими прекрасными и истинно полезными вещами. Наши предки не понимали прихоти Петра Великого, гнавшего их насильно к образованию, но и мы сами еще едва ли вполне сознали его потребность: чувствуем только, что в настоящее время без него обойтись нельзя, что без него и в общественной жизни, а главное — в службе — нашим детям придется плохо, и со вздохом покоряемся злой необходимости. Отсюда проистекает и тот апатический, мрачный взгляд, которым наше общество смотрело до сих пор на своих педагогов: таким взором встречает иногда больной цирюльника, который пришел вырвать ему зуб.

Благодаря Бога, в последнее время сильно стала пробуждаться более живая и разумная потребность образования; но покуда это еще какое-то неясное чувство, скорее страх темноты, где всем нам приходилось плохо, чем любовь к истинному свету. От этого первого побуждения до сознания истинного, христианского значения образования еще далеко.

Нет! В недостатке заботливости о воспитании детей нельзя упрекнуть наших родителей: этой заботливости так много, что если бы она была направлена на истинный путь, то воспитание наше достигло бы высокого развития. Но, выходя из источника семейного эгоизма, заботы эти приводят часто к печальным результатам и скорее мешают, чем помогают правильному общественному воспитанию. По большей части детей не воспитывают, а готовят, чуть не с колыбели, к поступлению в то или другое учебное заведение или к выполнению условных требований того общественного кружка, в котором, по мнению родителей, придется блистать их детям. Вот откуда происходят те, поистине дикие, заботы о французском языке, которые так вредно действовали на воспитание многих; вот откуда происходят и те странные вопросы, которые нам часто приходилось слышать: «По каким учебникам проходится арифметика или география в таком-то заведении? — Я готовлю туда сына или дочь», и т.п. И напрасно бы вы старались отделаться ответами, что требуются вообще такие-то и такие-то познания, а не знание тех или других учебников. «Нет, все-таки вернее», — ответит вам родитель. И из этого неважного обстоятельства вы уже можете заключить, какой характер имеют его воспитательные заботы. Напрасно старались бы вы уверить какую-нибудь родительницу, что слишком раннее изучение иностранных языков сильно вредит правильному умственному развитию ребенка. Если вам и удастся доказать ей эту истину совершенно ясно, то она, может быть, и вздохнет, но скажет: «Все это так, но как же обойтись-то без французского языка, а станут дети изучать его позже, то никогда не приобретут хорошего выговора». И для этого хорошего выговора жертвует она иногда не только умственным развитием, но и нравственностью своих детей, вверяя их иностранным авантюристам и авантюристкам. «Зачем вы учите вашу дочь музыке? — спрашиваете другую мать. — У нее нет никаких музыкальных способностей, и она никогда не полюбит музыки». Но в голове заботливой родительницы уже проносятся женихи, для которых невеста с музыкой так же необходима, как невеста с французским языком для Анучкина в гоголевской «Женитьбе». «Выйдет замуж, может музыку и бросить, — думает про себя заботливая мать, — а до тех пор пусть поиграет». И мучит понапрасну и учителя, и дочь. Не из этого ли же источника проистекает презрение к отечественному языку и к отечественной музыке? Разве нет еще теперь матушек, которым сын или дочь доставят большее удовольствие, сделав ошибку в русском языке, показывающую, что иностранный элемент начинает решительно преобладать в их головах; тогда как ошибка их во французском языке доводит иногда слабонервную матушку до истерики и слез. Это, видите ли, так мило, так аристократично — ошибаться по-русски: и, к сожалению, это действительно очень аристократично. Не из того же ли источника происходит и то, что наши прекрасные русские песни и наши дивные славянские мотивы, которыми так дорожил великий Бетховен, остаются в полном пренебрежении и вымирают даже в устах кормилиц и нянек, хотя они долго убаюкивали этими песнями детство русского человека. Глупейшие романсы, самым жалким образом исполненные итальянские арии — все это так аристократично!

Аристократичность, стремление лезть вверх, дать своим детям такое образование, чтобы они стали выше нас в обществе, чтобы они выбрались из того положения, в котором мы сами стоим, — вот один из главнейших мотивов нашей семейной воспитательной деятельности. Всякая сколько-нибудь здравая педагогика говорит нам: воспитывайте ваших детей так, чтобы они, выросши, были довольны не только тем положением, в котором находились их родители, но и гораздо более скромным. Но наша практическая семейная педагогика говорит другое. Мы все мало думаем о том, чтобы быть полезными на том месте, на котором стоим, но стараемся лезть все вверх да вверх и если не можем сами забраться выше, то хотим подставить лестницу хотя бы нашим детям. Это семейное тщеславие — одна из отличительных черт русского воспитания, и к каким диким и жалким явлениям оно часто нас приводит! Вот отец и мать, не понимающие ни слова ни на одном иностранном языке, наполнили свой дом иностранцами и иностранками и ходят в собственной своей семье, как в лесу, не понимая ничего, что вокруг их делается и говорится. Вот папаша, обладающий грубейшими манерами полкового писаря, заботится об аристократичности в манерах своих детей и колотит своего сынишку за то, что он поиграл с сыном дворника. Вот господин, дотянувший до статского советника, бьется из всех сил, чтобы втиснуть своего сына в аристократическое училище, и т.д.

Сколько жалких, и смешных, и безобразных явлений! Если бы родители заботились о том, чтобы дети их получили лучшее воспитание, чем получили они сами, — то это было бы очень утешительное явление. Но разве это забота о воспитании? Нет, это только желание блеснуть другим в глаза, стать на голову другим.

Как часто беднейшие люди растрачивают последние крохи, чтобы дать блестящее воспитание своим детям, и потом удивляются: почему эти дети, воспитавшись между детьми людей богатых и знатных, делаются или несчастными, или ни к чему негодными, или даже мелкими плутами, которые различными проделками поддерживают себя в высшем кругу. Как часто такие родители с накипевшей горечью в сердце говорят своим страдающим или беспутным детям: «Мы ничего не жалели для вашего воспитания, мы отказывали себе в куске хлеба, чтобы дать вам воспитание самое блестящее, какое получают только дети князей и графов, — и что из вас вышло?» — Бедные родители, жалкие дети! Да разве это было воспитание, а не дрессировка простой крестьянской лошади, которой назначено пахать землю, на манер дорогого английского коня? Разве воспитание чем аристократичнее, тем и лучше?

Менее вреда, но тоже достаточно, производит другое, более мелкое проявление тщеславия в воспитании. В ином семействе не пропустят ни одного знакомого, чтобы не показать ему, как хорошо дети декламируют стихи, как хорошо они танцуют, как говорят по-французски и т.п. Эти семейные публичные экзамены еще смешнее и вреднее публичных экзаменов многих наших учебных заведении. Как часто на этих экзаменах воспитание так противоестественно борется с врожденной драгоценной стыдливостью детей; как часто раздувают в них самолюбие, зависть, тщеславие, нахальство, кокетство с такою заботливостью, как будто бы это были лучшие человеческие добродетели.

Под влиянием этого-то семейного эгоизма и проистекающего из него тщеславия портится не только умственное, но и нравственное образование наших детей: как часто подавляем мы в них драгоценнейшие свойства души человеческой единственно только потому, что они проявляются не в тех формах, которые мы условились называть приличными. Эгоизм, самолюбие, тщеславие делаются побудительнейшими мотивами воспитания. «Учись хорошенько, будешь умнее других, будешь богат, в чинах, выйдешь в люди, станешь человеком»; но под этим словом «человек» разумеется вовсе не христианское понятие. Этот выход в люди перепортил у нас уже не одно поколение. По нашему понятию, люди где-то вверху, выше нас, а не наравне с нами и тем более не внизу нас. «Тебе неприлично» — вот фраза, которая чаще всего слышится в нашем семейном воспитании. «Благовоспитанный мальчик не должен ходить на кухню; благовоспитанная девушка не должна говорить правду всякому встречному» и т.п.

Кстати о кухне: влияние кухни, передней и девичьей на воспитание русского дворянства было очень сильно и принесло немало вреда. Крепостные крестьяне наши, по большей части, в своем быту и в своей нравственности мало отличаются от крестьян казенных; но дворовые наши составляют совершенно особое сословие, которое имело большое влияние на воспитание русского дворянства. Если бы для наших дворян было дорого истинное, а не фальшивое воспитание детей, то нет таких пожертвований, на которые они не должны бы были решиться, только бы отделаться от крепостного состояния.

Требовать нравственности от дворовых людей, и особенно от тех, которые стоят ближе к господам, значило бы требовать осуществления психологической невозможности. Нравственность и свобода — два такие явления, которые необходимо условливают друг друга и одно без другого существовать не могут, потому что нравственно только то действие, которое проистекает из моего свободного решения, и все, что делается несвободно, под влиянием ли чужой воли, под влиянием ли страха, под влиянием ли животной страсти, есть если не безнравственное, то, по крайней мере, не нравственное действие. Поскольку вы даете прав человеку, постольку вы имеете право требовать от него нравственности. Существо бесправное может быть добрым или злым, но нравственным быть не может.

Но если нравственность невозможна для существа, лишенного прав, то она невозможна и для того, в чью пользу лишается человек своих человеческих прав. Славянской природе нашей и христианству мы обязаны тем, что крепостное состояние не превратилось у нас в рабство. Мы сказали: славянской природе — именно потому, что, к величайшему сожалению, видим христианские нации, и теперь сохраняющие институт рабства. Но разве можно обвинять высокое учение Спасителя в том, что оно не принято сердцами тех или других людей вполне или извращено лицемерными, хитросплетенными толкованиями? Христианство не восстановляет раба против господина; это правда, и великая правда; но делает гораздо более: оно уничтожает возможность иметь рабов. Раб может, оставаясь рабом, быть христианином, но истинный христианин не может быть владельцем рабов: если же американский плантатор увертывается от этой аксиомы, то это не потому, чтобы он не понимал ее. К величайшему счастью, рабство было чуждо славянскому духу прежде даже, чем он просветился Евангелием; а теперь скоро и слабая тень его исчезнет. Правительство наше и дворяне (русские дворяне, конечно, могут это сказать: где же, как не в дворянском классе, созрела мысль о необходимости освобождения крестьян?) — правительство и дворянство, уничтожая крепостное состояние, кладут первый основный камень нравственного воспитания русского общества, и, говоря о дурном влиянии крепостной прислуги на воспитание детей, мы, к величайшему счастью, говорим уже о том, что готово исчезнуть. Влияние это выражалось в прямом воздействии крепостной прислуги на детское развитие; но еще более проистекало из тех отношений, которые существовали между маленьким помещиком и его кормилицей, нянею, лакеем, горничной. Не будем припоминать тех возмущающих душу картин, которыми наполнено детство многих из нас; но скажем только, что это сознание своего права над личностью подобного мне существа и его бесправности в отношении меня было одним из губительнейших влияний, отравляющих воспитание русского дворянства в самом корню. Здесь-то, по нашему мнению, рано вырастала та привычка к произволу, которая делала для нас стеснительным всякое ограничение закона; здесь, может быть, коренится зародыш неуважения к законам государства и к правам других лиц, а равно и неуважение к своим собственным правам. Кто нарушает права другого, тот невольно, в глубине души своей, отказывается от своего собственного. Вот откуда, может быть, проистекала та бесправность отношений, та игра произвола, случая и прихоти, хитрости и силы, раболепства и угодливости, взяток, непотизма и всякого рода окольных путей, которыми так богата летопись нашей служебной деятельности на всех возможных поприщах. Мы почти не верили в возможность законной, прямой дороги и прежде всего, даже иногда без всякой нужды, искали везде и во всем окольной, скрытной тропинки. Нам даже иногда казалось странным, если какой-нибудь чудак приглашал нас идти открыто, по прямой дороге, и часто еще со школьной скамейки молодой человек, руководимый своими родителями и родственниками, а иногда даже начальниками, высматривал уже окольные дорожки жизни. И увы! с грустью вспоминаем многие знакомые нам факты, когда молодые люди, которым с кафедры читали еще об уважении к закону и истине, разнюхивали уже втихомолку тепленькое местечко и влиятельных людей; делали визиты и старались установить связи, которые могли со временем пригодиться в жизни. Даже в отношении к наставникам нередко проглядывал тот же характер, и если какой-нибудь горячий юноша ломил, что называется, напрямик, то старики сомнительно качали головой и действительно угадывали нередко, что ему далеко не уйти. Неудачные же опыты на первых шагах показывали юноше, что те мелочные натуры его товарищей, над которыми он издевался, смотрели на жизнь гораздо умнее, чем смотрел он. Мы так привыкли к тому явлению, что старик-отец часто учит свое дитя отыскивать окольные дорожки в жизни, что и не можем себе представить всей глубины безобразия этого явления. Конечно, мы не приписываем всех явлений подобного рода одному влиянию крепостной прислуги на воспитание; но тем не менее значительная доля их принадлежит именно этому влиянию. Что же удивительного, что, окруженные с самого раннего детства существами бесправными в отношении к нам, мы сами рано привыкли к бесправности? Крепостная кормилица, крепостная няня, крепостная горничная приучили нас с детства к произволу в отношении подобных себе существ, и как трудно было воспитателю развить в ребенке, живущем в такой сфере, чувство нравственного достоинства человека. Мог ли даже говорить воспитатель о христианском понятии брата и ближнего, не возмущая ребенка против окружающей его сферы? А отрицательное направление в воспитании, без сомнения, есть самое опасное и ложное. Но еще лживее и опаснее, если ребенок замечает, что слова религии и науки только слова, имеющие значение в уроке и никакого значения в жизни. Тут не только нравственный урок пропадает даром, но приносит существенный вред, приучая слух и душу ребенка к таким словам, которые без этого, может быть, когда-нибудь потрясли бы его сознание. Все это он слышал уже не раз, слышал и привык не слышать, видел и привык не видеть, т.е. приобретал именно ту погибельную привычку, которая более всех прочих мешает идти человеку по пути нравственного совершенства. Лучше не говорить вовсе ребенку той или другой высокой истины, которой не выносит окружающая его жизнь, чем приучать его видеть в этой истине фразу, годную только для урока. Нам удавалось слышать не одного домашнего наставника, который отзывался с ужасом о тех препятствиях, какие встречала его воспитательная деятельность во влиянии крепостной прислуги на воспитанника. Правда, во многих дворянских семействах, особенно в богатых, старались по возможности прикрыть эти крепостные отношения; но эта искусственная гуманность редко могла обмануть чуткость детской души; а раскрытая раз, приносила новый вред именно своей поддельностью. Открывая нарочно скрытое от него зло, ребенок учится разом и злу, и средству прикрывать его.

Да, повторим еще раз, акт уничтожения крепостного состояния в России будет написан на страницах русской истории золотыми буквами и составит эпоху и в истории народного воспитания.

## III

Обрисовав мрачные стороны нашего семейного воспитания, нам тем приятнее остановиться на его светлых сторонах.

Если в этой семейной сфере мы нашли мало элементов права, то тем более находим мы в ней элементов родственной любви. Какая-то особенная теплота, задушевность, сердечность отношений, не допускающая мысли об эгоистической отдельности одного лица от другого, составляет отрадную черту характера славянской семьи. Трудно выразить в словах, вообще более удобных для выражения грусти или злости, чем отрадного чувства, то особенно светлое нечто, что рождается в душе нашей, когда мы вспоминаем теплоту родимого семейного гнезда. До глубокой старости остаются в нас какие-то задушевные связи с той семьей, из которой мы вышли. Нам как-то трудно представить себе, что эти связи уже разорваны навсегда, и это глубокое семейное чувство пробуждается в нас по временам, несмотря на толпу воспоминаний, проникнутых горечью и желчью.

Мы не знакомы настолько с семейными отношениями других племен и народов, чтобы высказать о них что-нибудь положительное; но нам кажется, что ни у французов, где семейные связи рвутся так легко, ни у чадолюбивых немцев, ни даже в проникнутых мыслью и деятельностью семейных английских кружках нет той безыскусственности, той глубины и сердечности отношений, которые существуют между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и даже ближайшими родственниками во всякой сколько-нибудь порядочной славянской семье. Есть что-то неуловимо холодное, сдержанное, не высказывающееся в этих условно приличных отношениях, разумно рассчитанных, пожалуй, весьма полезных, но неприятных для патриархального сердца славянина, которые мы замечаем в семействах иностранцев, живущих у нас, и в семейных романах западных писателей. В этих семействах каждый член пользуется большей самостоятельностью, чем у нас; взаимные права и обязанности высказались яснее; но именно, может быть, потому больше холода, больше рассчитанности в словах и поступках. У нас права и обязанности в семействе определены очень плохо, и всякого рода возникающие вопросы решаются не столько по семейному кодексу, сколько по внушению непосредственного, глубоко коренящегося чувства. В сфере-то этого широко развивающегося чувства, принимающего иногда самые дикие формы, но всегда очаровательного, — чувства, которое, может быть, замедлило освобождение крепостного состояния, но зато и помешало ему превратиться в холодное, стальное рабство, и которое, без сомнения, помешает также установлению безжалостных фабричных отношений между владельцем земли и земледельцем, — в сфере-то этого чисто славянского семейного чувства вырастало сердце русского человека, и этому-то чувству обязано оно, быть может, своими лучшими качествами: теплотой, добродушием, желанием какой-то задушевности в отношениях, тем неуловимо прекрасным оттенком, который примиряет нас иногда с самым закоренелым взяточником, когда мы посмотрим на него в его семейном кругу.

Сознаем вполне всю недостаточность наших способностей, чтобы выразить ясно, и притом в нескольких словах, это глубокое, родное и всем нам более или менее знакомое чувство: для такого выражения мало чувства и желания, но нужно художество. Из писателей наших, посвящавших свой талант выражению народной жизни, А.С.Пушкин и И.С.Тургенев более других успели перенести этот родной нам всем элемент в свои художественные создания.

Другую отрадную черту в семейном быту нашего дворянства, общую, конечно, и всем прочим сословиям, составляет сильный, глубоко коренящийся в сердце патриотизм, в котором, пожалуй, проглядывает нередко и тот ложный оттенок, который наша литература назвала квасным. Не забудем, однако ж, что если от нашего патриотизма пахнет иногда русским кваском, то и английский также не лишен запаха ростбифа, пудинга, джина, а немецкий сильно отдает пивом и табаком. У всякого народа есть свои патриотические предубеждения; но замечательно, что ни одна литература не вооружалась так против этих невинных предубеждений, как наша, объявляющая претензию на бесконечное уважение к народу. Посмотрите, например, с какою любовью Диккенс, которого, надеемся, наши литераторы не могут же обвинить в недостатке европейского образования, рисует самые мелочные привычки доброй старой Англии, привычки иногда чрезвычайно странные и отчасти даже смешные, и как старается он поддержать эти привычки, возбудить к ним любовь и в тех лицах, в которых они под иностранным влиянием начинают исчезать. Что, если бы в нашей литературе какой-нибудь писатель заговорил таким же языком, как Диккенс: каким бы градом колкостей, насмешек, какой бы бранью встретили его многие наши quasi-европейские критики! Это явление стоит того, чтобы о нем подумать. Или уже действительно в нашей русской жизни нет ничего, что бы заслуживало пощады, и мы с головы до ног должны перерядиться в чуждый костюм? Но в таком случае интересно бы знать, какой же костюм нам посоветуют выбрать: английский, французский или немецкий? — потому что нарядиться разом во все немножко неудобно: в платье, сшитом из разнохарактерных лоскутков, мы не будем походить ни на один образованный народ в мире: такое платье, увы, — шутовское платье!

Но, много или мало квасу в нашем патриотизме, только этот патриотизм глубоко вкоренен и в наших дворянских семействах, хотя спит до поры до времени и пробуждается только после какого-нибудь сильного толчка. Мы не будем припоминать здесь всех тех фактов народной жизни, когда патриотизм русского дворянства проявлялся во всей своей силе. Мы все еще недавно пережили эпоху, когда общее народное бедствие не с одного русского человека сорвало французскую, английскую или немецкую маску, и мы не без удивления узнали русских в таких людях, которых давно считали за чистейших иностранцев; это превращение доходило даже до крайности, и продлись еще немного этот тяжелый, но великий период, и мы уверены, что русская речь зазвучала бы в самых модных салонах и наши православные храмы наполнились бы людьми, которые давно туда не заглядывали. Нет, назло нам самим в нас гораздо более патриотизма, чем мы сами думаем; но много также того прирожденного славянского недостатка, который увлекает нас чужеземщиной далее пределов благоразумия.

Мы считаем выражением патриотизма и те проявления любви к Родине, которые выражаются не в одних битвах с внешними врагами: высказать смелое слово истины бывает иногда гораздо опаснее, чем подставить лоб под вражескую пулю, которая авось пролетит и мимо. И в этом отношении история русского дворянства, русской литературы и вообще русского образования, неразрывно связанные между собою, имеют много великих страниц. Да и в настоящее время в каком классе преимущественно началось овладевшее всеми нами глубокое, сильное сознание своих недостатков и желание во что бы то ни стало выйти на лучшую дорогу?

Не будем же слишком строги и к нашему, хотя бы и квасному, патриотизму: это богатая почва, на которой выросло и расцвело множество прекрасных растений. Какое сходство между великолепным цветком лилии и ее некрасивым, запачканным корнем? Но только для ребенка трудно понять, как такой некрасивый корень дал столько роскошных цветов.

Одно беда, что это чувство патриотизма, пробуждающееся по временам с истинно львиной силой, оказывает мало влияния на спокойный ход нашей жизни, на исполнение постоянных, ежедневных наших обязанностей. Нам рассказывали про одного помещика, который, снарядив двух сыновей своих в Севастополь, потом и сам пошел вслед за ними; а между тем этот человек составил себе состояние на службе самыми подозрительными средствами; явление, к сожалению, весьма возможное!

Вот на уничтожение этой-то раздвоенности нашей природы должно преимущественно действовать воспитание, и если мы не оправдываем тех поддельных патриотических возгласов и даже преднамеренных патриотических неправд, которыми наполнена наша старая литература и наши старые учебники, то тем не менее нам смешно и жалко, больно и досадно слушать и читать, когда какой-нибудь литератор или наставник усиливается доказать, например, что французов в двенадцатом году побили морозы, что в истории нашей все достойно насмешки и презрения, или с наслаждением развенчивает Державина, Карамзина, Пушкина, Жуковского, Гоголя, показывая детям, какие это были мелочные, пошлые натуры, или доказывает с увлекательным жаром, что ни в нашем прошедшем, ни в нашем настоящем нет ничего такого, на чем могла бы остановиться юная душа с любовью и уважением. Если бы английский, немецкий или французский педагог подметил в ком-нибудь из нас такое направление, то он, без сомнения, взглянул бы на нас с глубочайшим удивлением, как на безумцев, не имеющих ни малейшего понятия ни о душе человеческой, ни о нравственном достоинстве ее, ни о ее воспитании. Нет, это не значит воспитывать душу, а скорее разрушать ее; это не значит оплодотворять природу, а скорое делать ее совершенно бесплодной; нет, это не образование, а дикость, вандализм, потому что только варварам свойственно не иметь истории и разрушать драгоценнейшие ее памятники, истреблять все и не созидать ничего. А это поистине вандальское, все разрушающее, ничего не сберегающее и ничего не созидающее направление нередко принимается у нас многими за признак высшего европейского образования; тогда как в целой Европе нет ни одного самого мелкого народца, который бы не гордился своей национальностью: даже наш бедный, прижатый к земле западный брат-славянин, и тот гордо подымает голову, когда затронут его народность и его народную религию. Хотя бы из подражания англичанам, французам или немцам захотели и многие из нас, в свою очередь, иметь, уважать и любить свою народность!

Перечисляя прекрасные, отрадные черты в семейном воспитании нашего дворянского класса, мы, конечно, не можем пропустить той простой, теплой религиозности, которую и теперь еще можно встретить в большей части наших дворянских семейств, за исключением немногих, ударившихся или в модное неверие, или в гнусное ханжество. Эта религиозность редко, правда, бывает вполне сознательна, часто слишком придерживается формы, но тем не менее глубоко западает в детское сердце и иногда, пролежав в нем долго под разными туманными, еще менее сознанными теориями и блестящими фразами, пробуждается потом вновь с необыкновенной силой. Понятно, что религия действует на ребенка, равно как и на младенчествующий народ, более своими формами, чем своим высоким внутренним содержанием. Но если эти формы созданы во времена высочайшего христианского одушевления, то понятно также, что они не могут остаться без нравственного влияния на душу человека. Всякий, получивший чисто русское воспитание, непременно отыщет в душе своей глубокие, неизгладимые впечатления множества церковных песен и священнодействий, службы Великого поста и Страстной недели, встречи светлого праздника, Рождества, Крещения и всех тех годичных церковных торжеств и служб, которые составляют эпохи в годовой жизни каждого чисто русского семейства.

Чтобы понять значение этих воспоминаний, попробуйте насильно вычеркнуть их из истории вашего детства, и вы увидите, как потускнеет эта светлая, отрадная история. Наши писатели, посвящавшие перо свое описанию быта русского семейства, именно потому не достигали никогда своей цели, что по большей части пропускали этот религиозный элемент. Но, даже описывая жизнь английского семейства, лучшие романисты Англии, оставаясь верными жизни, нередко заходят в церковь, на паперть, на погост; тогда как в торжествах английской церкви далеко нет той глубины и полноты, какие есть в торжествах нашей. Вспоминая встречу Нового года, Диккенс рисует привлекательную семейную картину; но разве в этой встрече гражданского условного праздника есть что-нибудь подобное тем воспоминаниям, которые остаются в душе каждого русского человека, умеющего помнить и любить свое детство, от встречи Светлого Христова Воскресения? Недавно нам случилось, впрочем, читать в какой-то очень пошлой повестце насмешливое описание встречи этого праздника. Писатель хотел быть острым, хотел смешить, но показал только, что ум его лишен совершенно юмора, а сердце — чувства и что грязный цинизм кажется ему остроумием. Странное дело! Такие повестцы появляются у нас нередко рядом с теплыми рассказами Диккенса, и тут-то выходит наружу тот безобразный хаос, который часто царствует в наших убеждениях.

Знаем, что не одни подобные остряки, но и многие из нас заходят с циническим сарказмом даже в эту отдаленную область детства, — знаем и жалеем о таких людях: жалеем потому, что все удовольствия удовлетворенного мелочного самолюбия не могут заменить для них тех наслаждений, которые испытывает всякий человек, воспитанный в религиозной семье и имеющий способность возвращаться с любовью к воспоминанию детства. Но если такие лица, разорвавшие всякую связь и со своим детством, и с жизнью народа, вносят свои искусственные, узкие убеждения и в жизнь основанных ими новых семейств, то мы еще более жалеем об их детях: печально и холодно будет их детство, и когда, быть может, охваченные холодом жизни, захотят они отогреться у воспоминаний родимого очага, то не найдут там ни тепла, ни света.

Крестьянин не живет воспоминаниями, потому что в его жизни нет крутых переломов; но посмотрите, как иной бедный петербургский чиновник, занесенный в столицу из деревенской глуши, сидя в своей бедной квартире накануне какого-нибудь большого праздника и прислушиваясь к однообразному, безучастному гулу европейского города, переносится мысленно в свою тихую отдаленную родину и вспоминает, как изменилось и оживилось там все близостью великого дня. Болью и счастьем сжимается его сердце от этих воспоминаний, и часто он спешит в храм, чтобы, по крайней мере, на чуждых ему лицах и в церковном пении увидать оттенок и услыхать отголосок далекого, невозвратно минувшего детства.

Мы сохраняем отрадную уверенность, что многие из нас и теперь не могут без глубочайшего душевного удовольствия вспомнить о тех мирных, сияющих торжествах, о тех то грустных, то торжественных мотивах, которые Православная Церковь вносила в нашу родимую семью, и мы желали бы, чтобы ни одно русское дитя не было лишено святого, отрадного, воспитательного влияния Православной Церкви. Поверьте, что никакими эгоистическими расчетами не исчерпать потребностей души человеческой, что много еще есть в ней непостигнутых влияний и не вполне раскрытых чувств, которые долго ни одному психологу не удастся замкнуть в тесную рамку системы, и что именно из этих-то непостижимо глубоких тайников души человеческой рождаются и лучшие ее побуждения, и величайшие помыслы, и благороднейшие деяния, и те произведения искусства и поэзии, которым дивится свет, не понимая, откуда они могли родиться. Как часто мы встречали безумные усилия завалить эти живительные родники, — встречали рядом с удивлением к тем произведениям, которые из них произошли. Посмотрите, откуда почерпнуты самые теплые, самые лучшие страницы наших замечательнейших писателей; откуда вылились самые задушевные и трогательные страницы в произведениях Пушкина, Тургенева, Аксакова, Гоголя? Неужели из их общеевропейской, безличной образованности?

Заметим при этом, между прочим, что раннее помещение детей в казенные учебные заведения, где все совершается так формально, так безучастно, так официально, наносит величайший вред именно тем, что почти лишает силы все те воспитательные влияния, о которых мы сейчас говорили. И если кому-нибудь из наших читателей покажется непонятным или даже выдуманным тот воспитательный элемент, который мы находим в нашей детской, религиозной, семейной жизни, то, вероятно, этот читатель имел несчастье провести свои детские годы в каких-нибудь детских казармах или быть воспитанным в искусственно придуманной сфере, которая настолько же в состоянии заменить выросшую в истории нашей русскую религиозную семью, насколько натопленная комната способна заменить для растения его родимый климат и его родимую почву.

Обряды нашей Православной Церкви имеют великое воспитательное влияние уже и потому, что они сами собою, без посредствующих объяснений, обнимают детскую душу святым религиозным чувством, настраивают ее на возвышенный, торжественный лад. Но как часто случается, что практическая жизнь и ее наставления ставят в душе русского человека какую-то непреодолимую стену между исполнением этих обрядов и основными, глубочайшими принципами его практической деятельности! Вот именно постройке этой-то гибельной стены, возможности этой раздвоенности в душе должны противодействовать как нравственные наставления духовных пастырей, так и нравственно-религиозное воспитание детей, в основание которого положены религия, наука и жизнь — проникшие друг друга и составляющие одно целое. Но не видим ли мы очень часто, к сожалению, что даже у людей, на воспитание которых потрачено много забот, религиозные привычки и жизненные убеждения диаметрально противоположны друг другу? Не попадаются ли у нас даже между образованными людьми такие, которые слова лжи, лести и злобы, выходящие из уст, считают ничтожным грехом в сравнении с куском скоромной пищи, входящей в уста?

Мало этого: в нас часто еще можно видеть какое-то тайное убеждение, чудовищно противоречащее христианству, что исполнение тех или других религиозных обрядов как бы уполномочивает человека на те или другие возмутительные поступки и что строгое соблюдение постов, например, дает право быть жестоким, гордым или разрешает человека на обман, казнокрадство и взятки. Но возможно ли было бы такое поистине языческое убеждение, если бы человек прочел вполне сознательно хотя одну страницу Евангелия и принял сердцем и умом ее содержание? А наш народ, переставая есть скоромное в Чистый Понедельник, разве не продолжает дня два или три опохмеляться водкой? А наши буйные масленицы, в которые человек как бы старается запастись неумеренностями всякого рода на весь Великий пост? Не приводят ли все эти дикие явления к той мысли, что истинное, христианское воспитание Церковью и школой должно столько же, по крайней мере, бороться против неверия, сколько и против суеверия и идолопоклонства?

Мы говорим здесь только о бессознательной, добросовестной раздвоенности наших убеждений, а не о том преднамеренном религиозном лицемерии, в котором нет никаких убеждений. Это уже не ошибка, не заблуждение, а самое низкое, преднамеренное торгашество святыней. Религиозный лицемер в сущности хуже всякого атеиста: один только отвергает святыню, а другой торгует ею для достижения своекорыстных целей, и неверия глубже неверия лицемера быть не может. Атеист непременно верит во что-нибудь, религиозный лицемер ни во что не верит и действует на общество гибельнее всякого атеиста. Сколько юных благородных сердец, встречаясь с отвратительным лицемерием, именно потому уклонилось от религии!

Но если отвратителен образ человека, который, рассказывая всем о своих строгих постах и длинных молитвах, втихомолку берет взятки и давит своего ближнего, то разве не точно ли так же отвратителен образ человека, торгующего европейскими идеями гуманности и образования? Чем же лучше самого отвратительного религиозного лицемера какой-нибудь литературный откупщик, который толкует о пауперизме[[13]](#footnote-13) в своих раззолоченных палатах и изучает действие пауперизма на своих сотрудниках? Твердит другим о необходимости самопожертвования для общего блага и, пользуясь бедностью талантливого писателя, вгоняет его в чахотку своими бессовестными, нечеловеческими требованиями? Как истинный раб общественного мнения, не только глядит ему в глаза и ловит каждую его слабость, чтоб обратить ее в собственную пользу, но и старается поддерживать, плодить, растравлять эти раны, потому что живет ими, как чужеядный гриб живет болезнью растений, и печатает не то, что может быть полезно для общества, но только то, что может быть раскуплено? Всякая торговля убеждениями гнусна, какого бы рода эти убеждения ни были, и чем выше убеждения, тем торговля ими отвратительнее; но разве от этого помрачается чистота и святость самой истины? Истина всегда остается святой и чистой, какими бы нечистыми руками к ней ни прикасались: таково чудное свойство истины.

Но мы говорим здесь не о лицемерии, а о том бессознательном раздвоении между исполнением христианских обрядов, с одной стороны, и вовсе не христианскими принципами жизни — с другой, которое встречается у нас на каждом шагу. Вот этому-то раздвоению должно противодействовать истинно христианское воспитание.

Если нельзя обвинять истину в том, что тот или другой лицемер употребляет ее для своекорыстных целей, то точно так же нельзя обвинять религиозные формы и обряды, если кто-нибудь, увлекаясь ими, забывает содержание. Разве мы не видели возможности ханжества или лицемерия в самой бесформенной из религиозных сект — в пуританстве? Истинное, умственное и нравственное образование, проникнутое духом христианства, враждебного всякому лицемерию, в какой бы тонкой форме оно ни проявлялось, одно может предупредить такое то бессознательное, то злостное раздвоение формы и содержания.

Но, спросят нас, быть может, к чему мы ведем нашу речь, к чему мы выставляли дурные и хорошие стороны нравственного воспитания двух классов общества? Сознаем вполне, что выполнили нашу задачу очень плохо; но о важном значении самой задачи мы готовы поспорить с кем угодно. Мы должны познакомиться с настоящим состоянием воспитания в русском народе прежде, чем захотим внести туда наши теории и улучшения. Русская семья со всеми своими элементами, добрыми и дурными, со всей своей внутренней жизнью, дающей и целебные и ядовитые плоды, есть создание истории, которого нельзя заменить никакой искусственной постройкой. Напрасно мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ, — с ним родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю, все его лучшие и худшие качества. Это почва, из которой вырастали новые поколения России, сменяя одно другим.

Ее можно удобрить, улучшить, приноровившись к ней же самой, к ее требованиям, силам, недостаткам; но пересоздать ее невозможно. И слава Богу! Какой странный хаос, какие враждующие противоречия, какие нелепицы, кажущиеся нам разумными сегодня и крайне глупыми завтра, появились бы в воспитании русского народа, если бы оно было послушным воском в наших руках. Всякая цельность в народе исчезла бы навсегда, и та его долговечность, в которой жизнь отдельного человека является минутой, а жизнь целого поколения — одним днем, имеющим свои мимолетные слабости, прихоти и увлечения, была бы навсегда разрушена. Мы безумно подкопали бы корень векового растения и рассыпались бы потом сами, как рассыпаются листья с иссохшего дерева. Нет, позаботимся о том, чтобы дерево росло лучше, но не дерзнем коснуться его вековых корней! Дерево сильно — оно выдержит много новых прививок, сколько-нибудь ему свойственных; но, благодаря Бога, корни этого дерева уходят глубоко в землю, так что мы до сих пор не успели их докопаться. Нет, русское воспитание не поддается и не поддастся нашим усилиям до тех пор, пока мы сами в себе не примирим европейского образования с живущими в нас элементами народности.

Не остановки в развитии народа, невозможной или гибельной, как мы это старались выразить в первой статье, но разумного безостановочного развития, настолько быстрого, насколько может оно быть быстро без ущерба своей разумности, — развития, построенного на выработанных уже в истории основах, желаем мы всей силой души нашей: рациональной постепенной, безостановочной разработки и улучшения той почвы, которая уже представляется воспитанию самим народом[[14]](#footnote-14).

Глубокие, задушевные принципы патриархального быта, чуждые, с одной стороны, юридической строгости римского права, более или менее легшего в основу быта западных народов, а с другой — меркантильной жестокости и расчетливости; преобладание то льющегося неприметным ручьем, то расстилающегося широкой рекой славянского чувства, порывистого, неровного, но имеющего достаточно силы, чтобы иногда одним натиском вынести человека из самой глубины нравственного омута на вершины человеческого достоинства; необыкновенное обилие инстинктов, скорее угадывающих, нежели изучающих; необыкновенная, изумляющая иностранцев восприимчивость ко всему чуждому, льется ли оно с Востока или Запада, и вместе с тем стойкость в своей национальности, хотя часто бессознательная; наконец, древняя православная религия с ее всемирно-историческим значением, религия, превратившаяся в плоть и кровь народа, — вот что должно проявиться в народности русского воспитания, если оно хочет сделаться действительным выражением народной жизни, а не насильственным, чуждым народности подражанием: не растением без корня, которое, беспрестанно увядая, беспрестанно должно искусственно подновляться и вновь пересаживаться с чуждой почвы, пока наша вновь его испортит.

Знаем, что для многих всякая особенность в характере русского воспитания есть дело совершенно бесполезное, хотя они признают значение таких особенностей в воспитании других народов. Знаем также, что для многих наша народная религия, как необходимый элемент воспитания, кажется требованием излишним и стеснительным; но тем не менее, считая святой обязанностью каждого в таком великом деле, каково народное воспитание, выражать свои глубочайшие убеждения, мы скажем, что уже по одной народности этой религии не только всякий воспитатель юных поколений, но даже всякий, кто не хочет показать, что он не любит и не уважает своего народа, должен если уже не с любовью, то, по крайней мере, с глубочайшим уважением прикасаться к тем его убеждениям, которые для него так святы и дороги и с которыми неразрывно срослось все, что есть лучшего в его природе. Если, воспитывая дитя, мы должны с уважением приближаться к душе его, то во сколько раз должно быть больше это уважение к душе народа, когда мы принимаемся за дело его воспитания. Но как часто нам попадаются такие литературные явления, которых авторы, думая, конечно, действовать в интересе народного воспитания, начинают с того, что топчут прежде всего с презрением все народное и не замечают, как нерационально такое начало воспитания. Как часто попадаются нам такие литературные явления, в которых авторы, думая, без сомнения, действовать в интересе народа, на самом деле угождают только минутной прихоти разнохарактерной и разноязычной толпы, которая обыкновенно в великие народные эпохи или исчезает без следа, или оказывается настоящею чернью. Мы не говорим уже о тех литературных деятелях, которые именно и рассчитывают на эту минутную прихоть, какого бы рода она ни была, и, не имея никаких убеждений, занимаются только торговлей. Время, то есть постепенно развивающаяся жизнь народа, произносит свой медленный, но неотразимый суд и над литературой. Так гигант, вырастая, разрывает путающие его снаружи пеленки, унося с собой только то, что коснулось души его. «Все минется — одна правда останется», — говорит наш народ, выражая свою веру в историю и вечную правду провидения, правду, которую часто, как и самое небо, скрывают от нас туманы, подымающиеся с нашей же земли.

Уж и на Западе начинают рассеиваться узкие фанатические предубеждения против православного христианства; уже и там беспристрастные ученые, посвятившие свою добросовестную деятельность изучению истории величайшего элемента жизни человечества — изучению христианства, начинают заменять прежние, изобретенные фанатизмом, названия нашей Восточной Церкви названием исторической; начинают, хотя еще смутно, сознавать, что величественный исторический храм христианства сохранен именно православием. Путь, которым доходит до таких результатов добросовестная наука, весьма понятен; это тот же самый путь, следуя которому Шлецер[[15]](#footnote-15) открыл нам, русским, величие и добросовестность нашей скромной монастырской летописи и доказал нам, что мы напрасно роемся в полуученых хитросплетенных чужеземных летописях, обладая таким сокровищем, каким не обладает ни один народ, — обладая Нестором. Неужели же для многих из нас нужен непременно новый Шлецер, который бы указал нам, каким неоценимым сокровищем обладаем мы и в нашей православной христианской летописи с ее бесхитростною истиною и ее величественными историческими формами, столь свойственными великой народности, волнуемой неисчерпаемо глубоким религиозным чувством, ищущим свободы, которую может дать только глубокая, истинно художественная форма, проникнутая содержанием.

Близко, может быть, то время, когда всякий образованный иностранец если не с верою, то с глубочайшим уважением будет входить в древний величественный храм христианства, сохраненный Востоком, где и для иноверца, умеющего ценить глубину идеи и красоту форм, каждое украшение, каждая песнь проникнуты той величавой, простой и в то же время той недосягаемой глубиной, подделка под которую еще более невозможна, чем подделка под классическую древность. Есть что-то чудное, недоступное прихоти времени даже в том необыкновенно богатом, звучном и выразительном языке, которым оглашаются наши русские храмы и происхождение которого укрывается от самых пытливых взоров, вооруженных всеми средствами европейской науки.

Все это мы говорим здесь с той целью, чтобы показать, что истинная, добросовестная наука, каковы бы даже ни были личные верования самого ученого, не только найдет возможность построить народное образование на прочной основе нашей народной религии, но, как величайшим сокровищем, как неисчерпаемым и уже существующим источником нравственного и умственного развития, будет дорожить этой историческою основой, столько же христианской, человечественной и художественной, сколько и народной.

Мы высказали здесь далеко не все, что намерены были высказать; но в заключение скажем только одно: что русское воспитание нуждается не во внешних формах, не в замене прежнего вышедшего уже из моды и истасканного нами костюма новым, столь же иностранным и столь же нам чуждым: что, хотя, конечно, очень многое можем и должны занять из опытов иностранной педагогики, но не должны забывать, что для младенца тогда только не вредна чуждая пища, когда он, вскормленный молоком матери, уже приобрел достаточно сил, чтобы переваривать и уподоблять эту чуждую пищу и силою своей собственной, самостоятельной жизни превращать ее в кровь и тело. Такой родимой грудью является для нас наша народность и наша народная религия, соединяющие каждого из нас с каждым русским, хотя бы он скрывался далеко от глаз наших в самой темной массе народа или в самом отдаленном уголке нашей неизмеримой отчизны, — соединяющие нас с давно отжившими и грядущими поколениями, — словом, со всем тем, что дает нам прочное историческое, а не эфемерное существование.

Но если никакие внешние реформы не решают вопроса о народном воспитании, а решение его требуется настоятельно и безотлагательно, то как же приступить к нему? Прежде всего и более всего наше народное воспитание нуждается в людях, способных к этому великому делу, нуждается в народных учителях, — народных не потому только, что они учат народ и в народных школах, а потому, что они вышли действительно из среды народа, вынесли с собой его лучшие, характеристические свойства и его чистейшие привязанности и просветили эти свойства и привязанности истинно христианским, европейским образованием. Народные учителя нужны нам прежде всего и более всего. Но для отыскания средств, как приготовить таких учителей, Воскресные школы (письмо в провинцию) мы можем без стыда обратиться за опытами и указаниями к нашим старшим братьям в деле образования. Заимствуя устройство учительских семинарий у Германии и Англии, мы, конечно, должны подражать им и в том, чтобы эти семинарии приготовляли действительно народных наставников, т.е. таких, которые бы не вносили разлада в народную жизнь и неверия в народное сердце[[16]](#footnote-16).

1. К.Д.Ушинский имеет в виду знаменитого древнегреческого философа Диогена (ок. 412–323 до н.э.), основателя школы киников. [↑](#footnote-ref-1)
2. К.Д.Ушинский упоминает персонажей произведений Н.В.Гоголя — Павла Ивановича Чичикова из поэмы «Мертвые души» и судью Амоса Федоровича Ляпкина-Тяпкина из пьесы «Ревизор». [↑](#footnote-ref-2)
3. Карл Фохт (5.07.1817 — 5.05.1895) и Якоб Молешотт (9.08.1822 — 20.05.1893) — немецкие философы, представители вульгарного материализма. Фохт был сторонником дарвинизма и атеизма, а Молешотт утверждал, что духовная жизнь человека зависит от физиологических процессов его организма. [↑](#footnote-ref-3)
4. Генерал Бетрищев — герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». [↑](#footnote-ref-4)
5. Имеется в виду книга Р. Гейма «Гегель и его время», перевод которой был напечатан в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1859–1860 годах. [↑](#footnote-ref-5)
6. Бэкон Фрэнсис (21.01.1561 — 9.04.1626) — английский философ, родоначальник материализма, с 1584 года — член парламента, с 1617 года — лорд-хранитель печати, а затем — лорд-канцлер, барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский. Ушинский ссылается на один из фактов биографии Бэкона: в 1621 году он привлекался к суду за взяточничество и был отстранен от всех должностей. После помилования Бэкон занимался научной и литературной работой. [↑](#footnote-ref-6)
7. Мальборуг (Мальборо) Джон Черчилль (26.05.1650 — 16.06.1722) — английский генералиссимус и государственный деятель, отличившийся во время войны за испанское наследство (1702–1711, 1714–1717). Ушинский упоминает о страсти к деньгам Мальборо, сильно вредившей его репутации. [↑](#footnote-ref-7)
8. Сквозник-Дмухановский Антон Антонович — персонаж пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор», городничий, который внешне благочестив, исправно посещает церковь, но не пропустит того, «что плывет в руки». [↑](#footnote-ref-8)
9. Имеются в виду германцы, описанные Тацитом (56–117) в его этногеографическом очерке «О происхождении германцев и местоположении Германии». [↑](#footnote-ref-9)
10. Речь идет о легендарном испанце, ставшем героем многих литературных произведений, Дон Жуане, и Фальстафе, персонаже комических пьес Шекспира «Виндзорские проказницы», «Генрих IV» (1-я и 2-я части). Дон Жуан — гордый испанский аристократ, сластолюбец, прожигающий жизнь в поиске наслаждений, попирающий своим поведением моральные и религиозные ценности. Фальстаф — толстый и добродушный рыцарь, изрядно выпивающий в компании гуляк и девиц, похваляющийся мнимыми воинскими подвигами, попирающий свою рыцарскую честь, потому что она не приносит ему материальной пользы. [↑](#footnote-ref-10)
11. Франке Август-Герман (22.03.1663 — 8.06.1727) — немецкий богослов и педагог, один из вдохновителей и активных деятелей пиетизма — направления в протестантизме, характеризующегося пристальным вниманием к личному благочестию и внутреннему религиозному переживанию человека; основатель ряда учебных заведений для сирот в Германии, считавший, что испорченное общество можно исправить путем воспитания детей. [↑](#footnote-ref-11)
12. Арнольд Томас (13.06.1795 — 12.06.1842) — английский историк, специалист по античности и педагог, реформатор образовательной системы, с 1828 года — ректор закрытой школы для мальчиков в Регби, где он делал упор на дисциплине и подвижных играх. [↑](#footnote-ref-12)
13. Пауперизм (лат. бедный, неимущий) — явление массовой бедности, под которой понимается отсутствие самых необходимых средств для существования. [↑](#footnote-ref-13)
14. В моей статье «О народности в воспитании», напечатанной в «Журнале для воспитания» за 1857 год, я старался выставить факт народного воспитания у всех великих западных народов; здесь же я хотел схватить некоторые наиболее резкие черты народности русского семейного воспитания, которое всеми своими сторонами — хорошими и дурными, более дурными, чем хорошими, — отразилось и в нашем школьном воспитании; отразилось настолько, насколько могло отразиться в этих неудачных снимках с чуждых нам образцов. (*Прим. Авт.*) [↑](#footnote-ref-14)
15. Шлецер Август Людвиг (5.07.1735 — 9.09.1809) — немецкий историк, публицист, один из авторов норманнской теории, бывший на службе в Российской империи в 1761–1767 годах, профессор Академического университета в Санкт-Петербурге. Шлецер прибыл в Санкт-Петербург в качестве помощника Миллеру в издании «Собрания российской истории». Он популяризировал западные приемы критики исторических источников, полемизировал с М.В.Ломоносовым, содействовал в издании «Истории Российской» В.Н.Татищева. Шлецер проводил работу по изданию русских летописей, в частности в 1767 году были опубликованы первый том Никоновской летописи, подготовленный С.Башиловым под руководством Шлецера, и первое издание «Русской Правды». [↑](#footnote-ref-15)
16. Вопрос об устройстве учительских семинарий будет одним из главных вопросов «Журнала Министерства народного просвещения» в будущем году. (*Прим. Авт.*) [↑](#footnote-ref-16)